

Б-30

Р30029

ВЛ. БАХМЕТЬЕВ

Всн



*у порога*



78

Вл. БАХМЕТЬЕВ

# у порога

30029.



1941  
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ  
МОСКВА

Б—30

Художник Б. Уханов

## I

Книга о Шугаевске и его людях развернулась у меня на много страниц. Здесь я ограничиваюсь событиями, которые сыграли в моей жизни, на одном из крутых ее поворотов, немаловажную роль.

Прежде всего — о старом владельце нашего завода... Виктор Фокин, могущественный властитель Шугаевска! Поистине был он для нас, работников, злым роком, карающим провидением, тою загадочной, но осязаемой на каждом шагу силою, которая, даже повергнутая, преследовала нас долгое время.

Где только не доводилось нам обнаруживать власть и волю короля шугаевской промышленности! Годами вращал он в нас, в наш быт и навыки, проникая к нам всюду — за верстак, к станку, в семьи наши. Он науськивал брата на брата, оптом скупал детей и уже в раннем возрасте высасывал у них волю к сопротивлению.

Не было, кажется, такого уголка в нашей деятельности, где бы мы не сталкивались с хозяином завода, не испытывали бы разрушительного его влияния. Бессильный сокрушить нас в открытой схватке, он давал о себе знать

в стенах нашего боевого лагеря, в глубинах наших привычек и страстей. Убегая, он преследовал нас, как тень нашего прошлого, и, если для нападения ему нехватало собственных сил, он вербовал силы на стороне, не останавливаясь ни перед географическими границами, ни перед границами подлости.

И, конечно, был он не одинок, Фокин. Если их, служителей нашего хозяина, расположить по чинам так, как делала это когда-то моя бабка в своих рассказах о силах творца вселенной, то наш завод с его адскими пещерами, с огнем и громами будет царством, где снизу вверх, лестницей, стояли: старший дядька, десятник, табельщик, мастер, инженер и, наконец, хозяин, более грозный, чем второе пришествие.

Рослый, строгий, с лицом, изможденным, как у святого, он ходил среди нас, окруженный своими архангелами, и с косых, костлявых плеч его библейским хитоном ниспадал тяжелый, заношенный в годах сюртук, а в руках он, как скипетр, держал посох с набалдашником из мамонтовой кости. Вот! Но тут — лишь оболочка, лишь то, что умирает вместе с телом... Хозяин наш, это — неумирающие полтора миллиона в банках Москвы и Парижа, это — две трети паев акционерного товарищества, это — неиссякаемый запас цепких навыков, больших планов.

Хозяин наш глядел в вечность... Никогда не переведутся железные дороги, которым нужны мосты и вагонные снасти, никогда не угаснет междоусобная брань на земле, а значит, и нужда в литье для броненосцев, в металле для

снарядов, в колючей проволоке для окопов. Знали Виктора Фокина в столицах, вхож был он к именитым воротилам интендантства, открыты были ему двери лучших бирж и банков, и департамент полиции с готовностью принимал от него, через голову губернатора, докладные записки о мерах благочиния в крае... Где же было состязаться с ним? Не было силы под солнцем, которая могла бы свалить Фокина. Так, по крайней мере, нам, пленникам его царства, представлялось. И однако — сила такая нашлась, и не где-то в стороне, не за тридевять земель, а среди нас самих.

Впервые я столкнулся с хозяином вскоре после того, как земляк и сват моего покойного отца, сталевар Зотов, устроил меня на завод, вернее, на черные дворовые работы. Было тогда мне не более шестнадцати лет, только что я окончил уездное училище и, начитавшись всякой всячины, спал и видел себя под непостижимо счастливой звездой, в необычной жизненной обстановке... И вот оно — мое счастье, вот оно — ристалище необычной судьбы моей: грязная, тяжкая работа среди железного лома, проголодь, пьянка и драки вокруг, тупая, нудная тоска из-за разлада между действительностью и моими мальчишескими мечтами. Да, был я неисправимым мечтателем, и этим качеством своим обязан не одному лишь пристрастию к чтению. Мечтателем сделался я по наследственному, так сказать, дару. Отец мой, приказчик по профессии, до самой смерти шатался из города в город, от купца к купцу, в поисках богатства, и умер нищим на пути к Одессе, куда его поманила какая-то жульниче-

ская галантерейная фирма. Моя мать, белошвейка, к путешествиям склонностью не отличалась, однако, когда родной брат ее, ушедший на Афон в монахи, расписал ей о медовом афонском житье, она оставила меня, пятилетнего, на попечение бабки и со швейной машинкой умчалась к брату. Ежемесячно мать высылала нам пособие, но, несомненно, афонский дядя многое о приволье Афона приврал, потому что более пятерки бабка моя от белошвейки не получала. Я мог бы упомянуть еще и о другом дяде, брате отца, безвременная кончина которого, по рассказам бабки, вызвана была тою же страстью к необычному. Отличный столяр, краснодеревец, он отправился с кем-то из местных сектантов в Канаду и с той поры исчез бесследно.

Итак, о первой моей встрече с хозяином. Разгневанный, он едва коснулся тогда меня, но и того было достаточно, чтобы лишить человека уверенности в его праве на существование. Он мог бы искромсать, испепелить мне всю жизнь, превратить меня в ничто. И если это не удалось ему, то лишь потому, что, преследуемый, я успел вооружиться мудростью, перед которой не устоял и он.

Я спасся. Однако борьба моя с шугаевским самодержцем затянулась на годы.

В нашей первой стычке, когда Фокин дал мне почувствовать разящую свою силу, не было ничего особенного. Со мной произошло то, что случалось с каждым, кому не удалось вовремя разобраться в сложной обстановке завода. Я не учел могущественности моего хо-



зяина и в припадке отчаяния оскалил на него зубы.

Стояла осень, лили дожди, грязь во дворе завода была непролазная. Я и мой сверстник Ермил Мальцев тащили с черного двора, мимо крылечка конторы, стальную болванку. Оба мы изнемогали под тяжестью груза. Пот струился с нас, как у впервые запряженных стригунков, дыхание бурно, со свистом, вырывалось из наших легких, груз давил нам плечи, напрягал до боли каждый мускул, пошатывал нас из стороны в сторону. Дрогни у одного уверенность: не дотяну! — и оба мы пали бы на месте, задавленные тяжестью, какую несли на себе и какая была выше наших ребячьих сил.

И вот — окрик: «Посторонись!» Но, погруженные в борьбу со своей ношей, мы не свернули бы, казалось, даже перед надвигающимся паровозом.

Скосив глаза, я разглядел в мареве дождя долговязую фигуру старика, а рядом — девушку с кружевным зонтиком. Только что они покинули фаэтон и теперь пробирались к крылечку конторы.

Видя, что мы не собираемся очистить дорогу или хотя бы остановиться, паспортист Сергеев, человек, готовый ползти в грязи, прокладывая путь своему повелителю, бросился к нам и толкнул в плечо Ермила. Паренек охнул, и — я едва успел отпрянуть — болванка рухнула с высоты наших плеч, выхлеснув, подобно фугасному снаряду, вихрь воды и грязи.

Залепленные с ног до головы бурой жижею,

оглушенные нашей дерзостью, стояли перед нами недвижно хозяин (это был он!) и его дражайшая наследница, нарядная Дарья Викторовна. Подобно людям, окунувшимся внезапно в холодную воду, оба они — отец и дочь — дико таращили глаза и отфыркивались. Это было не только страшно, но и смешно. И вот, враз позабыв о ломоте в теле, мы разразились хохотом. Паспортист обомлел. Хозяин, взбешенный, шагнул в мою сторону, но... я продолжал хохотать. Все во мне извивалось, корчило от неудержимого смеха. Я сознавал опасность моего поведения, но долговязый седобородый старик, залитый грязью, был неотразим для меня. И чем яростней становилось выражение его глаз, тем сильнее охватывало меня безумное веселье. Казалось, неистовство всего заводского люда вселилось в меня.

Тогда Фокин замахнулся на меня посохом, он целил мне в голову, и тут произошло такое, что заставило паспортиста вскрикнуть. Я перехватил хозяйский посох, рванул его к себе и в припадке возмущения отбросил далеко в сторону. Затем, ожидая нападения, я сжал кулаки и ощерился на своего врага, как пес.

Вокруг собирались люди. Один из зевак бросился к луже за хозяйским посохом, Дарья Фокина, не оглядываясь, уходила, а паспортист Сергеев, разъярившись, с грозным рычанием подскочил ко мне. Только окрик хозяина остановил его.

Из-под насупленных бровей Фокин уперся в меня жарким задымленным взглядом, я не двинулся, поджидая момента, чтобы, изловчив-

шись, сграбастать у своих ног голыш. Он разгадал мое намерение, и вдруг что-то, похожее на улыбку, исказило его укрытое сединой лицо. Оглянувшись на того, кто поднял посох и вытирал его старательно о полу своего пиджака, хозяин крикнул: «Брось!» И когда, повинувшись, человек бережно опустил посох в грязь, я услышал обращенный ко мне негромкий голос:

— А ну... подай!

Хозяин указывал мне глазами на посох: он хотел, чтобы именно я, виновник, извлек из грязи его посох.

Тысячи людей всяческих характеров сгибались перед Виктором Силычем за годы его владычества, и теперь, верно, в тысячу первый раз у хозяина проснулось чувство дрессировщика.

— А ну... подай!

Голос был холоден, неумолим, но в глазах старика я уловил, несмотря на все свое возбуждение, что-то близкое к участливости. Это было жутко и отвратительно, и только спустя долгое время, оглядываясь на этот случай, я понял, чего добивался от меня Фокин. Сегодня он вновь встретил одного из тех, с кем не переставал бороться всю жизнь. Узнавая во мне привычное и снисходя ко мне, он решил применить обычный маневр укрощения.

— А ну!

Я не двигался, стиснув челюсти, чувствуя, что сейчас должна произойти какая-то мерзость и что поэтому мне нельзя поддаваться.

Он шагнул ко мне, теряя терпение, и вот,

присев, я выхватил у своих ног камень... Хозяин отступил.

Выражение тоскливого недоумения прорезалось в его глазах. В следующую минуту он принял из рук паспортиста посох и, не взглянув больше на меня, пошагал к конторе.

Возможно, что уже вскоре Фокин позабыл обо мне. Однако, как оказалось в действительности, память Фокина была обширней своих природных возможностей, — ровно в такой степени, в какой он, управляя заводом, опирался на десятки преданных ему слуг: хотел ли хозяин того или нет, они преследовали меня, как всякого, кто встал бы на его пути, и напоминали о провинившемся своему господину.

Вечером того же дня сталевар Зотов, покаряхтывая, бранил меня за мою несдержанность:

— Ну, куда я теперь с тобою, малец... а?

Кто-то уже побывал в цехе у Фомы Артемыча, и мне предстояло покинуть завод или ухитриться потонуть в его недрах без вести.

Сталевару удалось пристроить своего подзащитного к гвоздильщикам, но и здесь продержался я всего с неделю, пока не угодил на глаза кому-то из конторских. Так в течение месяца перебегал я из цеха в цех, преследуемый незримой рукою хозяина, и, наконец, сталевар Зотов обратился к последнему средству: он оттащил на квартиру паспортиста изрядный шматок свеженины. С этого часа мне было позволено укрыться в прокатке, за стенами слесарно-токарной мастерской.

Было похоже, что хозяин оставил меня в покое. Но я знал: в любой день он мог вновь

приняться за меня, потому что я оставался в его царстве.

## II

Скопищем бедствий был для нас, ребят, завод Фокина, и мы, еще не вполне изуродованные нашим укротителем, тщетно метались у заводских стен в поисках спасения. Где оно?

— Деньги! — сказал мне как-то рабочий канатного цеха Юшка Кочетков. — Деньги, паренек, начало и конец сущего. На небе — бог, на земле — рубль, вот тебе и вся премудрость.

Почти то же самое говорил когда-то покойный отец мой, купеческий приказчик, чья вся жизнь прошла в мечтах о чудодейственном рубле. Смутно угадывая, что оба они — отец и Юшка — далеки от полного знания действительности, я принялся выпытывать правду у книг и перечитал за зиму почти все, чем полна была библиотечка, открытая в слободе дочерью Фокина.

Зарываясь в груды книг и не находя в них ответа, я и не подозревал, что Дарья Викторовна, нарядная и ласковая королева, построила для нас не библиотеку, а капкан. Ущемленный, оглушенный, надолго разочаровался я в печатном слове и повел жизнь не лучше, чем мои сверстники: сидел до рассвета по праздникам в кабачках, таскался за город, подманивал гармоникой гулящих девушек, иногда бушевал в хмелю и от тоски, от беспросветности подумывал о смерти. Я только не знал, как вернее покончить с собою: в воде или в

огне, в петле или под ножом. Все эти виды смертной кончины не удовлетворяли меня, мне чудилась роковая скала, с которой бросаюсь в море, а то — бокал шипучего вина, отравленного колдовским ядом. И вот, те самые книги, в которых напрасно искаля загадки мироздания, удержали меня от последнего шага: мне хотелось смерти не менее таинственной и пышной, чем это было у графа Монте-Кристо, у придворных короля Людовика Пятнадцатого, у рыцарей старой Англии.

Но, без сомнения, смерть приманивала меня всерьез, настойчиво. И все вокруг поддерживало неугомонную тягу мою к забвению: и двенадцатичасовой беспросветный труд на заводе, и орава черносотенных прислужников хозяина, с их жестокостью к подросткам, и толпа безработных за воротами, с нетерпением поджидавших, когда кого-нибудь из нас выкинут на улицу.

Не весело вспоминать хмурые тогдашние годы, задымленное навсегда небо, слободу с коростой ее улиц, харчевни, монопольки, базары-толкучки на Проломах, куда мы несли прикопленные недоеданьем гроши в обмен на обноски.

До сих пор, как в тяжелом сне, мерещатся мне кривобокие избы в заплатах, проголодь за тараканьими стенами, почернелые божьи лики по углам, гроздь золотушных ребят на печках, девчата, залапанные с отрочества похотью... И свадьбы с кровавыми драками, и похороны с пьяненькими черноризцами, с бабьим воем на всю слободу... А по вечерам, под воскресные дни — гундосые переборы монастыр-

ских колоколов, грачиный грай на свалах, за путями, очередь пьянчужек у кабака.

Работали мы по триста сорок пять дней в году, не зная, что такое отпуск для отдыха, и не имея права болеть: когда мы заболели или теряли силы в преждевременной старости, ворота завода выплевывали нас на мостовую.

Две трети фокинской армии работали вручную, одними своими мускулами, но когда в помощь нам ставили машину, никто из администрации не думал о защите работника от увечий. В горячих цехах, у печей и за вальцами, еженедельно выбывали из строя десятки людей, и были на заводе участки, куда жены провожали своих мужей, как в окопы.

Однажды на моих глазах пылающая проволока захватила в петлю вальцовщика и перегрызла его, и только спустя год, после долгих мытарств, семья погибшего получила вспомоществование в полтораста рублей... Такова была цена нашей жизни!

И удивительно ли, что неугасимое пьянство свирепствовало среди фокинских работников: пили в трактирах и дома, пили перед работой и за работой... И он, наш повелитель, хозяин наш, не смущался диким, застойным этим пьянством.

Помог мне вылезти из тогдашнего сумеречного моего состояния канатчик Кочетков, за балагурство прозванный Юшкою Дудюю. Познакомился я с ним благодаря самозабвенному его пристрастию к пению: он пел, я ему подыгрывал на гармошке. Будучи вхож

к подпольщикам, человек этот доставил меня однажды на очередную секретную беседу у слесаря Лямина, дяди Вани тож.

Руководил кружком петербургский слесарь Степан Вагин. Многие ученики его стали позднее закадычными моими друзьями. Здесь же познакомился я и с Аннушкой Рудаковой. Стояла она за станком, в тянульно-проволочном цехе. Несмотря на свои совсем еще зеленые годы, она работала с бесстрашием в подполье. Ее покойная мать также трудилась на заводе, но об отце Аннушки никто ничего толком не слышал, и она сама избегала разговоров о нем.

До завода окончила Аннушка начальную школу и затем две зимы бегала в городскую гимназию. Это было редчайшим явлением в нашем быту, но тот, кто знал мать Анны, не выражал особого удивления: пожилая работница готова была на самые тяжелые жертвы, лишь бы дать своей девчонке образование или, как у нас в слободе говорили, добиться для дочери «жизни по-людски». Надорванная непосильным трудом, вдова умерла в отчаянии за свою любимицу: Аннушка должна была покинуть школу, погубить себя за станком. Но она не погибла! Принятая чуть ли не в тринадцать лет на завод, Аннушка переселилась в семью вдовой подруги покойной своей матери, а эта вдова, работавшая на листопрокатке, свела ее с подпольщиками.

Все в Анне притягивало меня: и резвый ее характер, и сметливость, и удивительные серые глаза, и тонкая, как бы застывшая на кончиках губ, усмешка. Она отличалась способно-



стью подмечать в каждом из нас что-нибудь неловкое, неуклюжее, и эта ее усмешечка невольно заставляла меня оглядываться на себя, проверять свою одежку, а подчас и свои мысли. Знакомство наше в кружке Вагина началось с того, что Анна вслух вспомнила о моем столкновении с хозяином.

— Вояка! — рекомендовала она меня Вагину. — Мы тут стачкою хозяина припугиваем, а этот чуть не в рукопашную с ним!..

Было похоже, что девчонка насмеялась надо мною, и вот впервые, наряду с горячим любопытством, во мне зашевелилась неприязнь к ней.

Полюбив эту девушку, я никогда, однако, не чувствовал себя принужденно в ее обществе, и не было такой беседы у нас, когда бы мы не пытались уколоть друг друга, открыть один у другого какую-нибудь слабость. Может быть, в этой нашей непрочной дружбе сказывалась противоположность нашего духовного склада: излишняя, как мне думалось, трезвость в мышлении Анны, склонность к мечтательности, к неудержимой порывистости у меня. При этом мы оба были самолюбивы до крайности, ревновали друг друга к нашему учителю Вагину, а я еще и завидовал Анне, ее успехам в марксистской науке. Даже смекалистый фрезеровщик Тит Шеповал и сам Кронид Дементьев, считавшийся передовым учеником кружка, уступали Анне в начитанности.

— Что ж, она в гимназии обучалась, а мы в это время лямку тянули! — ворчливо объяснял я товарищам успехи Рудаковой.

Это было нехорошо — думать так, но ведь и Аннушка не отличалась скромностью: она обычно непрошенно врывается в кружковые беседы и бесцеремонно, не ожидая слова учителя, поправляла нас. У нее и в будничных разговорах проскальзывало это досадное умничанье: слушая, она следила за каждым вашим движением, как бы процеживая сквозь незримое сито всякое ваше слово. А допустив в свою очередь какую-либо оплошность и при этом уличенная, она бледнела и готова была от обиды на себя плакать. Впрочем, переживая глубоко свои ошибки, она никогда не защищала их. Правдивость являлась несомненною чертою ее характера, и это, как ни странно, также не всегда было по душе мне. Я как бы прозревал в Аннушке те человеческие ценности, которых проклятая судьба лишила многих из нас. Самую манеру Анны говорить в глаза правду, ни с чем не считаясь, я понимал как свойство и право избранных, людей независимых и жестокосердых. Конечно, был неправ я, как неправ и во многом другом, что выделяло Анну из круга моих, усвоенных от дедов, представлений о женщине. Покорность, скромность, умение держать себя в тени, — вот что бессознательно искал я у Аннушки и — не находил. И было мне это тем более обидно, чем сильнее, с течением времени, я убеждался в серьезности своего чувства к девушке.

Отвечала ли она, как говорится, взаимностью мне? И да, и нет. То есть порою — да, порою — нет. Так, по крайней мере, мне чудилось вплоть до того часа, когда не словами,

а делом, рискуя жизнью, Анна сказала свое «да».

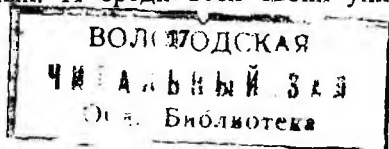
Случилось это позже, много позже, уже после нашей сибирской ссылки, после революционного переворота в Шугаевске, в один из моментов, когда старик Фокин, хозяин наш, вновь столкнулся со мною... Да, поверженный, сломленный в открытом бою, он еще раз настиг меня, чтобы нанести удар с тыла.

Не стану, впрочем, забегать вперед. Мне еще следует остановиться на второй моей встрече с Фокиным. Именно тогда он, властитель шугаевский, кинул мне вещее слово и как бы предупредил меня о готовившемся нападении в будущем.

Началась мировая война, завод перешел на работу по обороне. Где-то там, на границах, лилась кровь, город наш пел, пил, веселился, прибыли заводчика Фокина сказочно росли, а по цехам устанавливались порядки, которым позавидовала бы тюрьма.

И вот разразилась стачка. Мы предъявили Фокину требования. С ответом он медлил, усилил охрану: заводской полицейский надзиратель, прозванный нами Ванькою-Кайном, располагал теперь, помимо своих людей, еще и отрядом конных, вооруженных до зубов, стражников.

Стаечный комитет нервничал, толковали по цехам о близких арестах, об отправке стачечников на фронт. Верный своим приемам борьбы, Виктор Силыч попытался расколоть наш лагерь, заронить в наши ряды взаимное недоверие, подкупить слабых и темных, запугать неподкупных. И среди всех своих ухищрений



он прибег к помощи грязных слухов, направленных против главарей стачки. Так, в ответ на сочиненную нами от имени РСДРП прокламацию, люди Фокина пустили по заводу подметные письма. В них большевик Вагин, учитель наш, именовался чужеземным шпионом, Кронид Дементьев, казначей стачечной кассы, обвинялся в хищениях кровных рабочих грошей. Не осталась без внимания и Аннушка Рудакова, изрядно намозолившая глаза охране своими хлопотами в слободе, среди рабочих семей. В одном из своих посланий «доброжелатели», ссылаясь на стариков, утверждали, будто она, Рудакова, произошла на свет благодаря сожительству ее матушки, листопрокатчицы, с Ванькою-Каином, причем правдоподобности ради «старики» намекали о «насиленной любви» полицейского живоглота.

Со свойственной ему легкомысленностью Юшка Дуда подсунул Анне безыменную бумажонку, и я был свидетелем, как близко приняла она к сердцу грязный навет. Вся вспыхнув, с навернувшимися на глаза слезами, молча покинула она тогда нас.

— За родную мать обиделась, — объяснял нам озадаченный Дуда, а я, уничтожающе взглянув на него, прошипел:

— Дурак!

— Дурак и есть, — согласился канатчик, подумал, добавил: — Без отца росла Анна, вот и... выдумывает народец.

Кажется, он сказал это не совсем уверенно, потому что, в конце концов, все могло быть у Фокина, где любой молодой работнице не

было прохода от псиных ласк мастеров, десятников, охранников.

Я твердо решил навестить Аннушку дома, разговориться по душам, наедине с нею. Но это так и не удалось мне. В сумерках того же дня я и Мальцев проникли во двор завода, чтобы проверить, действительно ли администрация заманила к магнитному крану черно-рабочих: прошел такой слух. Не обнаружив у крана никого, мы повернули назад, к глухим северным воротам, наткнулись здесь на стражу и были вынуждены направиться к главным воротам. Благополучно миновав контору, мы уже приближались к выходу, когда за нами раздался знакомый хриловатый голос паспортиста Сергеева:

— Эй, стой-постой!

Мы задержали шаг, паспортист нагнал нас.

— Хозяин к себе велел! — проговорил он, кладя мне на плечо руку.

— Меня?

— Тебя, тебя! — подтвердил паспортист. — Он сверху, из окна, доглядел... «Давай, говорит, этого... долговязого сюда».

Я взглянул на Мальцева, тот сказал:

— Иди, обожду... Только, чур, ухо востро... Понял?

Поколебавшись, я все же завернул к крылечку. Коридорами паспортист провел меня наверх, к кабинету заводчика.

— Шагай, Готов.

Фокин только что окончил разговор со своим управляющим. Отослав его прочь, он оглядел меня из-под насупленных бурых бровей.

— Готов?

- Так.
- С вальцетокарного?
- Да.
- Садись.

Я приготовился выслушать нотации, упреки, быть может, выпытывание о наших стачечных планах... Ничего подобного не последовало. Ухмыльнувшись в бороду, Фокин сказал:

— Э, вон ты какой... длинный сделался. Теперь уж, видно, посошком-то тебя не достать?

Он намекал на нашу первую, три года назад, встречу, и я мог лишь подивиться памятью старика. Я промолчал, не намереваясь уступать мирному тону разговора. Он неспеша спрятал глаза под густым навесом бровей и заговорил об ином.

По сю пору звучит у меня в ушах то вкрадчивый, почти елейный, то раздосадованный, полный брезгливости, голос Фокина.

Он знал о нас, без сомнения, все, что знали молодцы Ваньки-Каина, даже больше, и ему, верно, казалось тогда, что наша судьба — в его руках. Но он не был спокоен: ему не доставало уверенности, что с концом, который он приготовил нам, кончалась вражда к нему его рабочих. Потому, надо полагать, он и пожелал слышать меня, самого молодого среди стачечного комитета. И не скрою: как ни был к тому времени зрел и зорок я, Фокину не раз в течение случайной и непродолжительной нашей беседы удавалось возбуждать во мне любопытство.

Он старался прикрыть цель своего внимания ко мне, тем не менее даже слепцу было

бы очевидно: старый заводчик, подобно хирургу перед операцией, осматривал, прощупывал, «готовил» своего больного.

Несомненно, в его глазах я был больным и притом опасным в общежитии. Вырвать, вырезать, отсечь зараженное место в рабочем теле завода — это, конечно, не все еще. Приходилось подумать о том, чтобы после нас не осталось зачумленных корней, ответвлений.

Я догадывался, как трудно ему, и постарался избавить его от множества лишних вопросов. Я заговорил сам: о стачке и... о неизбежности его крушения. Это-де уготовано историей, перед ним, заводчиком, сидел сейчас один из его могильщиков... Так мог говорить только человек моего возраста, впервые к тому же вступивший на арену вековой борьбы: весело, решительно, самоуверенно, как если бы по одну сторону стола сидел всемогущий Голиаф Шугаевска, а по другую — Давид с его пращей.

Между прочим, я сказал:

— Мы, рабочие, трудимся на себя лишь треть заводского дня, остальные две трети идут на дивиденды...

Был это наивно дерзкий, но вынужденный ответ на вопрос хозяина о зарплатке токарей. Выслушав меня, старик покивал головою, как бы соглашаясь со мною, и вдруг спросил, не думаю ли я, токарь, что когда-нибудь будет наоборот: он, хозяин, получит одну треть, а две трети...

Я прервал его. Нет, такого положения никогда не будет! Еще немного — и, чтобы жить

как следует, люди труда перестанут вовсе терпеть посредников.

Он выждал, не скажу ли еще чего, и, не дождавшись, понял, что, помимо колких этих рассуждений, ему не услышать от меня ничего. Не скрывая раздражения, он заговорил опять: не думаю ли я, что, в конце концов, бабы научатся рожать людей по одной мерке, с одинаковыми способностями? Где это токарь наслышался об уравнивании под ранжир всех и каждого?..

— В церквах! — успокоил я старика, скрывая усмешку. — Об этом слышал я в церквах, с амвонов.

Медленно он провел по мне режущим взглядом и промолчал. Тратить на меня дальше время было несуразно, бесполезно. Но ему неприятна, гадка была моя самоуверенность.

— Ладно, иди! — кинул он мне. — Иди, «могильщик», но помни: где бы ты ни оказался, за что бы ни принялся, чем бы ни огородил себя... все равно — я найду тебя!

Угроза! Как, должно быть, хотелось ему немедля, прямо из своего кабинета, отправить меня в острог и при этом видеть меня униженным. Однако острог — вещь для меня обеспеченная. Он знал об этом и смирился, на прощанье подал мне руку.

### III

В ту же ночь многих из нас арестовали и, продержав с полгода в тюрьме, выслали: Вагина, Дементьева, Ериила Мальцева, Тита Шеповала, Дуду и меня — по этапу в Нарымский



край. Туда же, к весне следующего года, попала и Аннушка Рудакова.

Надо ли говорить, как я был огорчен и... обрадован появлением среди нас Анны! С неделю ходил я по селению как во хмелю, но затем протрезвел: человек привыкает к любой радости. Одно не переставало волновать меня — это судьба покинутых товарищей, их беды, горести, их успехи и поражения. В ссылку докатывались к нам отчаянные слухи. Завод точил снаряды, ковал войску арбы, днем и ночью готовил металл для фронта. Дело Фокина цвело, а положение его работников все ухудшалось, и мы ничем не могли из нашего проклятого далека помочь шугаевцам.

Минул еще год. Залитый кровью, исходил последними своими днями тысяча девятьсот шестнадцатый год. Среди вновь прибывших ссыльных были товарищи из разных городов, и все они рассказывали нам о неудержимом стачечном движении по заводам и фабрикам, о бунтах в запасных полках, о ряде случаев, когда маршевые роты отказывались повиноваться, громили железнодорожные станции, разбегались по деревням и чащобам.

Мы решили бежать. Эта мысль о бегстве явилась у меня, но некоторое время я не находил среди близких сочувствия. Затем ко мне присоединились: фрезеровщик Тит Шеповал, литограф Нахимсон, литейщик Кронид Дементьев, пожилой рабочий с прокатного стана Ключанцев.

Дуда выражал восхищение по поводу нашего намерения, но следовать за нами отказался.

— Ты погляди на мои пимы, — говорил он

мне, подымая ногу и тыча пальцем на заплату в своем валенке. — В такой обуви трех верст в зимнее время не сделаешь... А ты все же, Глотыч, молодец! Я всегда говорил, что нрав у тебя самый что ни на есть боевой!

Нет, я не отличался особой отважностью, как представлял себе Дуда, но оставаться здесь, в непролазной глуши, было свыше моего терпения. Я рвался в бой и все острее начинал чувствовать разрыв между тем, что представлял собою Никита Глотов, и тем, необычным, сложным, что надвигалось к нам, в ссылку, из грозной дали, с кровавых полей войны.

И не потому ли, не из-за этого ли желания как-нибудь осилить то, будничное, что окружало нас, а заодно преодолеть и себя, будничного, я еще там, в тайге, уселся за перо и бумагу? Не доедая, не досыпая, стиснув зубы, боролся я за овладение секретами нового, удивительного моего труда и при этом забывал порою об Анне, об очередных вечерах-посиделках, где она бывала, о вылазках с нею в тайгу на лыжах. Кажется, мои уединения насторожили Анну, а когда однажды я принес ей стопку мелко исписанной бумаги и кое-что зачитал ей (то были стихи, я начинал, как все, с рифмы!), она холодно выслушала и довольно резко заметила:

— Ни одной стоящей мысли! И склада мало... Рубишь ты с плеча... Хоть бы почитал, как пишут другие.

Исподлобья, с тоскливым недоумением слушал я моего первого критика, и была она, Аннушка, в эту минуту чужой мне, далекой. В ее словах, в том, как улыбалась она, в самом вы-

ражении думающих, исследующих глаз ее таилось что-то более несносное, чем оскорбление: оно, это «что-то», окатывало меня морозцем, приминало лучшие мои чувства, вспугивало меня, как мальчишку с чужого огорода.

— Шут возьми, Анна! Не хочешь ли ты, чтобы в стихах я излагал «Капитал» Маркса?

Голос мой выдавал мое состояние. Она смягчила свой отзыв:

— Совет, Никита: пиши, если уж чешутся руки, прозою.

— Например? — спросил я, комкая в руке свои писания.

— Например, ты мог бы дать «Сибирской нови» корреспонденцию...

— О наших бедах и прочее? Пиши сама!

Она метнула в меня быстрым взглядом, вполоборота ко мне, и протянула руку — играючи, хотела взъерошить отросшие мои кудлы.

Но я угрюмо отвел ее руку.

Сообщение о подготовке побега Анна приняла без сочувствия и обозвала меня по этому случаю вспышкопускателем. Однако, высказываясь против бегства в суровое зимнее время, она не встретила поддержки даже у нашего осторожного учителя Вагина.

— Кому-нибудь надо ж начинать, — сказал тот, внимательно меня выслушав, и обещал сделать все возможное, чтобы облегчить наше исчезновение из поселка.

В день отъезда Анна забежала проститься. Как обычно, у нас разгорелся по какому-то отвлеченному предмету спор: каждый настаивал на своем, и я тем более раздражался, чем яс-

нее мне становилось, что она нарочито затеяла свой очередной, далекий минуте, разговор: она явно увиливала от настоящего теплого слова. Я умолк и помрачнел. Тогда, заторопившись, она выхватила из-под полы своего зипунишка шарф, шерстяной, пушистый, с алыми разводами.

— Вот! — сказала она, вспыхивая. — Эта штука пригодится тебе в пути, Глотыч.

Проворно она обернула шарф вокруг моей шеи, разгладила концы на груди у меня, прихлопнула ладонями.

— Сама связала, — выронила она, задержав у шарфа ладони.

Я откликнулся ей, но... с неожиданной для меня самого насмешливостью:

— Неужели... сама? Мне жалко твоего времени!

Почувяв в моем замечании недоброе, она отгрызнулась:

— Лучше уж сидеть за шарфом, чем за какими-то дурацкими стишками! — И, не удовлетворившись этим, добавила: — Думаешь, не вижу, почему ты затеял побег?

— Ну? — невольно опустил я глаза.

— Потому что мысль о бегстве пришла тебе в голову первому!

— Ого! Но ведь не приди ко мне мысль — я ничего и не затеял бы... У тебя, верно, бывает иначе? — хмыкнул я. — Сначала — затея, потом — мысль... Так, что ли?

Она продолжала еще резче:

— Не заматай, не заматай следы! Ты ведь всюду хотел бы оставаться первым...

Перепалка наша не имела смысла и была не

ко времени. Уже сегодня, в сумерках, мы покидали друг друга. Спohватившись, она вскинула руки к шарфу, притянула меня к себе и так крепко впилась в мои губы своими, что я ощутил холодок ее зубов.

— Ну, и ладно... Прощай!

А поймав на себе преследующий мой взгляд, вспыхнула, скорчила гримасу и внезапно показала мне язык, как это делают подростки в момент гнева или желая скрыть свое смущение.

Озадаченный, я не успел вымолвить слова: дверь хлопнула, гостя моя исчезла.

В поле, к саням, поджидавшим беглецов за селением, вышел проводить нас один Вагин; в последний момент прибежал еще Дуда.

— Как! — вскричал я. — Ты добыл себе пимы?

С унылым презрением отмахнувшись, Ефим Лукич сказал:

— Что пимы? Решимости во мне нет.

Вслед он принялся прощаться с каждым из нас и потом, отойдя, поднял, как соборный регент, руки:

Вихри враждебные веют...

И мы из саней, которые должны были доставить нас к соседнему поселку, вполголоса подхватили:

Темные силы нас злобно гветут,

Но мы подыдем...

И еще долго, выбравшись за реку, кричали и бесновались мы, все пятеро, не подозревая

о бедах, какие ожидали нас на беспримерном по своим трудностям пути.

Нас преследовали трескучие морозы, многодневные вьюги, стаи голодных волков... Но не от дикого зверя, а от встречных людей шаркались мы в сторону — совсем как лоси, настигаемые охотником. В каждом верховом виделся нам дозорный, на каждом попутном ночлеге ожидали мы нападения, и нам почти не удавалось пользоваться повозками, так как роскошь эта требовала немалых средств и, главное, связана была с опасностями.

Охваченные лихорадочными надеждами, гонимые решимостью скорее умереть, чем остановить себя на полпути, мы подвигались, стиснув сердца, вперед то по оцепенелому хребту реки, то под снежными навесами таежных троп. На пятый день у литографа Нахимсона огромные ласковые глаза его походили на глаза умирающего лося, а мои десны припухли и кровоточили. Самым выносливым среди нас оказался Кронид Дементьев: он уступал физическим своим складом богатырю Шеповалу, но зато превосходил его силою духа, терпением, верою в благополучный исход побега. Первым сдал пожилой прокатчик Ключанцев, и мы вынуждены были тащить его на себе. В конце концов мы оставили прокатчика в попутном поселке на попечении какого-то инвалида войны: безногий, он обладал сердцем, прозревшим в эту проклятую войну всю правду, и потому охотно согласился принять на свое попечение нашего больного товарища. Еще через день отстал литограф: измученный, чувствуя, что скоро будет в тягость нам,

Осип воспользовался гостеприимством беглых с фронта солдат.

И мы шли дальше втроем теперь. Кронид Дементьев, передав свой ватный нательник мне, продолжал шагать на своих лыжах впереди нас с таким видом, будто пробирался он не по дну накаленного морозами океана, а среди наших огнедышащих заводских печей. Мы шли дальше, и фрезеровщик Тит Шеповал устраивал нам среди тайги привалы: он подсекал наотмашь молодые ели, приносил на плечах ометы валежника и складывал из всего этого костер в человеческий рост.

— Где нам журиться, нехай лихо смеется! — покрикивал он, укладывая нас у костра на расчищенную и пригретую землю, как малых ребят на мужичью печь.

Всего лишь трое осталось нас, но если бы сегодня упал я, а на завтра за мною Шеповал, — литейщик Дементьев будет итти вперед. Хотя бы один из нас должен был донести себя в Шугаевск!

Позади у нас лежало так много страданий, что уже ничто, казалось, не в состоянии было вернуть нас к прошлому. Но оно, прошлое, тянулось за нами, пыталось остановить, подсесть, опрокинуть нас.

На одной из заимок мы столкнулись с урядником, и когда он вздумал устроить за нами погоню и первый бросился наперерез нам в тайгу, его пришлось убрать с нашего пути. Он был вооружен шашкою и револьвером, но не учел того, что становиться на пути людей, чья вся жизнь сосредоточена была в движе-

нии, нельзя. Он стрелял в нас, и один из нас, укрывшись за пихтою, настиг его ударом топора в ту самую минуту, когда он вкладывал в барабан своего оружия новые патроны.

Уже в полусотне верст от города, между двумя селениями, на совершенно открытом месте, нас захватила пурга, и мы едва ли выбрались бы из ее тенет, не доведись нам вовремя убраться под надежные стены тайги. Но эта наша борьба с лютой стихией подорвала силы даже у Дементьева. Мы отыскиали не вдалеке от опушки одну из обычных в тамошнем краю, заброшенных охотниками, избенок и здесь свалились.

Имея огонь и тепло, мы не имели хлеба, а пурга не унималась, многоденная сибирская пурга... Полуобмерзших, голодных, обессиленных до потери сознания, нас нашли случайно мадьяры, работавшие на лесозаготовках в партии военнопленных. Чутьем угадывая в нас «красную дичь», они сохранили втайне от своих конвоиров наше местопребывание и, отлучаясь под разными предлогами со становища, урывками, по очереди, прикармливали нас. Одного из наших спасителей звали Ласло Санто, Владислав Санто тож.

Когда мы в состоянии были продолжать путь, Владислав, токарь из Дебрецин, бежал с нами. Покидая неволю, изнурительные работы, он приобретал в нас друзей, которые хотели войны против войны и стояли за рабочий интернационал... Как кстати оказался нам этот человек в последний день пути с его знанием дороги и, главное, с заразительною его бодростью, отвагою, выносливостью. Он помогал



нам всем, чем мог, и неустанно распевал свою веселую песенку:

Нем бушулок, бушулей, ан ало..  
Эдь киш ларнет, бушулны а ё..

Что значило в нашем, общими усилиями сделанном, переводе:

Геть скуку, пусть скучает лошадь.  
Из-за одной девочки нехорошо скучать..

И потом:

Потеряешь одну пуговицу, —  
Можешь найти сто других.

В городе, на улицах, переполненных народом, мы столкнулись с событиями, которые потрясли нас: революция!

Всех нас устроили в лучшей больнице города, и здесь, отдыхая после невзгод перенесенного пути, мы слышали о судьбе оставленных нами товарищей: литограф Нахимсон цел, не вредим, прокатчик же Ключанцев погиб, так и не дождавшись праздника, ради которого бежал из ссылки.

В больнице мы не залежались: надо было готовиться в путь, на родину, а вскоре в город прибыла партия ссыльных, и среди них — Вагин, дядя Ваня, Аннушка, ее подруга Женька Евладова, литограф Нахимсон.

#### IV

Мы возвращались на родину. Когда-то нас тащили Великим сибирским путем в арестантской теплушке, под конвоем. Сегодня мы — в мягком пульмановском вагоне, за зеркальны-

ми окнами, и никто не сторожит нас, мы свободны, как журавли в степном небе.

Апрель бродил, пенился на просторе, апрель был в разгаре, и чем дальше от таежных равнин увлекал нас поезд, тем ярче вокруг становилась буйная полевая шерсть... Солнце, опрокинутые в синеву перелески, снежные паруса по откосам, докрасна размытым первыми дождями, — это днем. А ночью — струнный шум поезда в бесстенной темноте, талые, как бы обогретые за день звезды, нечаянные журавлиные крики под звездами, в застоялой тишине полустанков.

Города встречали нас оркестрами, из сел выходили к нам ватаги крестьян с кумачевыми знаменами над обнаженными головами. Нас чувствовали, мы были первыми среди тех, кто вступил некогда в единоборство с ненавистным строем.

Могли ли быть люди, более счастливые, чем мы? Еще вчера каждый из нас походил на загнанного волка. Сегодня помолодевшая страна готова нести нас на руках, как знамя.

Я полон всем этим и тем еще, что прорасстало у меня на сердце вместе с весной в полях: Аннушка тут, рядом, под одной кровлей со мною.

Двадцать два года от роду — и столетний боевой закал. Перенести испытания, каких хватило бы целому городу в десятилетиях мирного существования, обладать будущим, не знаящим границ, и при всем том — любить равную тебе по перенесенным бедам и такую же сейчас вольную, как те журавли в небе, — можно ли желать большего? Я пьян без вина!

Я, не задумываясь, умер бы под знаменами, перенятыми у нас тысячами рук.

Хочется быть одновременно всюду, все видеть и слышать, и я не мог спать от жадности. Мои товарищи кажутся мне необыкновенными. Я готов часами не спускать глаз с жарко-смуглого лица Владислава Санто (он с нами!). Неугомонные затеи и выверты толстобрюхого Юшки повергают меня в веселое отчаяние. Он говорит, этот Дуда, солидно наморщив брови: «С пеленок зачитывались мы Липпертом», — и я хохочу. Он говорит: «Тюрьмы надо передать под шоколадные фабрики», — и я готов свернуть ему шею в припадке восторга: почему же фабрики и непременно... шоколадные?

Аннушка снисходит к моему веселью, но под прозрачной ее улыбкою читаю суровые формулы: восьмичасовой рабочий день, контроль над предприятиями, мир без аннексий и контрибуций!

Она выступает вместе с нами перед толпами солдат, полонивших станции. Она рвется в наступление. Голос ее всюду, где наш поезд задерживается.

— Долой войну! Солдаты, не выпускайте оружия из своих рук! Крестьяне, берите землю...

Я слежу за тем, как, подымаясь на носки рваных своих башмаков, Аннушка выкрикивает во всю грудь, и при этом ее лицо бледнеет, а на шее проступают голубые жилы.

У меня нет силы терпеть, я перебегаю в другой конец и там подымаю свой голос:

— Никакой поддержки Временному прави-

тельству! Пока власть в руках капиталистов — мира вам не видать.

В то же время мне слышен зычный, со всхлипами ехидства, голос нашего Вагина:

— Война до победного конца?! Воюйте, потому что им надо грабить... Верность союзникам?! Будьте верны иностранным грабителям и не посягайте на своих, отечественных...

И еще выкрики, ломкие и трудные, исполненные возбуждения:

— Долой немецкий Милюков... Да здравствует пролетарий австро-германских коалиций!.. Да здравствует Спартакиус во главе с Карлом Либкнехт!

Когда слушаешь Владислава Санто, беспомощного в чужом ему языке, кажется, что перед тобою школьник, подросток.

В вагоне продолжается то, что мы начинаем, когда говорим к солдатам, к рабочим. В нашем купе и в соседнем с нами, в коридоре и на площадках, — всюду кипит жаркая возня тел, неостывающая брызжет тревога, гремят голоса:

— Левая Циммервальдская... Ленин... Оборонцы, эсеры, бундовцы... Чхеидзе, Мартов, Потресов...

— Немедленно съезд партии... Программа устарела... Ленин...

— Декларация правительства Львова и К<sup>о</sup>... Милюков, Гучков, Керенский...

— Завоевать советы... Советы, советы... Ленин!

Я заглядываю в дверь к Шеповалу, к Дементьеву, — и там то же:

— Диктатура пролетариата... Республика со-

ветов... Армия, милиция... Национализация земли...

Дядя Ваня, терпеливый, потный, принимает на себя град ударов, предназначенных Владиславом Санто мошенникам всего света.

— Социал-шовинисты... оппортунисты... центр... Лонгэ, Макдональд... Гаазе, Шнейдер... Швейцарские грютлианцы... Бить по башка!..

Санто кричит, размахивая кулаками у самого лица дяди Вани:

— Бить по башка... Луиблановщина... Социал-шовинизм... Шнейдер, Каутский...

Женя Евладова слушает молча, но иногда она лукаво подмигивает Шеповалу, и при этом тугой розовый подбородок ее корчится от сдерживаемого смеха.

Юшка Дуда переходит от группы к группе, поддевает за локоть Нахимсона, тычет ребром руки в бок сосредоточенного Дементьева, литейщика.

— Сдерем шкуру с Фокина! До, ре, ми, фа... А тюрьмы — в шоколадные фабрики... Фа, ми, ре, до... Боже, храни Керенского... Богородица пречистая, пришей ему пуговицу, стыдно глядеть.

Вагин — как сталевар на своей площадке у только что заправленной печи: спокоен, нетороплив и чуть-чуть насмешлив к окружающим. Он видит дальше, чем те, и он совершенно спокоен, потому что металл подкинут, а там уж дело огня.

— Завком... Советы по районам... Восемь часов явочным порядком... Заводоуправление... Вести своих... Ага, кусается? Хе-хе-хе...

Голова у Степана Климентьича посажена

вплотную к плечам, она у него стриженная, шишковатая, и он то и дело проводит рукою по темени, а рука мясиста, грузна, как у молотобойца.

Я засматриваюсь на голову Вагина, и мне жульнически весело: отличный подарочек везем мы Шугаевску. Не голова то, а самая настоящая адская машина!

Где тут забыться, отдохнуть, соснуть хоть на минутку! Поезд летит в некую пустынную безвестность, более, однако, плодоносную, чем апрель на пашне. Я весь в шумах мысли. Фантазия моя дерзка и неожиданна, она проникает в отдаленные уголки будущего, в ней неукротимая сила древесных почек — этих удивительных взрывов весны в осиянном зорями воздухе. Я веду за собой полки, и мои солдаты от границ маршируют в глубь страны с уверенностью двадцати двух лет моих.

Я не могу спать даже ночью. Свист, и храп, и бульканье идут от спящего Юшки, и ему дружно вторит, причмокивая, Степан Климентьич... Но я не могу забыться. С верхней полки, подрагивая, ползут горячие простыни Аннушки. Мне беспокойно, как в детстве под большой праздник, в те немногие счастливые часы, какие случаются у каждого шкета, сколь бы ни была сурова вокруг обстановка. Сердце мое бьется споро и часто, как солдатский барабан на смотре, как кузнечный молот после выигранной стачки.

Я искал у Аннушки дружбы, только дружбы, правда, особенной, ни на что не похожей, но мне вовсе не стыдно своего чувства... Прощлое — в пламени, огонь грызет без пощады

отрепье нашей юности, и ох, как весело поджидать — что же из всего этого выйдет? Надо бы испепелить всю коросту пережитого и заново, новорожденными глазами, взглянуть на мир, на любовь, на все то огромное, значимое, что когда-то распинали в нас хозяева нашей жизни.

Поезд летит, падает в пространство, мечет вагон из стороны в сторону, как силач — детскую колыбель. Ночь, расступаясь, отваливается у окон, подобно чернозему на пашне под натиском лемеха. Я поднимаю голову и встречаюсь с глазами Анны. Она смутно улыбается мне и молчит, сытая своей скрытой сейчас от меня радостью. Задичалый стальной свет в ее глазах плавок, зубы влажно мерцают в голубых отсветах фонаря.

Я приподнимаюсь, беру ее руку, неожиданно холодную и покорную.

— Не спится, — говорит она тихонько, с тою особой доверчивостью, с какою ребята, придя в себя ночью, рассказывают близким о сновидениях.

— Мне тоже, — откликаюсь я, вставая и накидывая на себя одеяло.

Вагин спит, обратив ко мне тряскую спину, а рядом, сползая с полки, подрагивает косматая рука Юшки: завялые от сонной одури пальцы шевелятся, как бы что-то старательно стряхивая с себя.

Рассказывая о пустяковых вещах и не замечая всерьез ничего вокруг, Аннушка принимает мою голову на свою грудь. Мне слышно, как неутолимо колотится ее сердце.

— Помнишь, Никита, хозяйку мою, Широ-

кову? — говорила она без умолку, как бы пряча за своими словами от того, что происходило у нас в эту минуту. — Вот уж была потеха однажды. Явились, понимаешь, с обыском ко мне... незадолго перед арестом было, — а ночь поздняя, и я дрыхну...

Покончив с одним случаем, она переходит к другому, и вдруг шопотом:

— А знаешь, стишки-то твои ничего... Но все же лучше, если ты перейдешь на прозу.

— Хорошо, займусь прозой, — соглашаюсь я охотно.

— Да, лучше, если проза... хотя...

Негромко она декламирует:

Нет, не знаю, не знаю тебя...

Может быть, и любя,

Не скажу про то никогда!

Она вспомнила давнишние мои стихи, и это позволяет мне коснуться губами ее плеча: все у Аннушки простенькое, но какое же замечательное! Отстранив меня, она ломким голосом произносит:

— Спать... Иди к себе! — Затем, задержав меня: — А завтра... завтра, понимаешь, Урал, а там... шуга-шуг, шуга-шуг!

— Шугаевск! — перевожу я ее инословье и, не выдержав, касаюсь губами ее горячей щеки.

И опять она отстраняется.

— Погоди... Ужо в Шугаевске!

Но в Шугаевске нам было не до того, что там, в вагоне, обещала мне Анна.

Война еще шумела. Однако пружины, которые двигали ее, теряли свою силу, и вся



страна содрогалась подобно ржавому механизму в руках монтера... Да, мир взят был в ремонт мастером, который один только и мог спасти его.

Мы еще застали на заводе Фокина, но он уже не был в прежнем дородстве. Впрочем, отступив, он владел трудом через тьмы видимых и невидимых своих слуг. И мы, люди труда, готовились к последним, решительным битвам... Октябрь неудержимо приближался.

Еще до того, как российские промышленники в лице Бубликова, старого друга нашего Фокина, обменялись на московском совещании рукопожатием с Церетелли, стрелка заводского монетра подскочила к красному знаку. Взрыв был неизбежен.

В цехах происходили сцены, способные ошеломить всякого, тем более тех, кто свыкся с неторопливым шагом житейской колымаги. Люди работали, а в обеденные часы митинговали, просиживали далеко за полночь в комиссиях заводского комитета, обучались стрельбе за монастырскими оврагами и были каждый час готовы к чему-то, быть может, не вполне еще осознанному, но бесповоротному.

От станка к станку и среди печей важно похаживали бородачи, вербуя в профсоюз отсталых, собирая взносы в союзную кассу. Это делалось неторопливо, трезво, и в то же время было что-то праздничное, почти торжественное в том, как литейщики, печники, прокатчики, передав сборщику деньги, старательно вытирали о полу руку, расписывались на листке и озирали победоносно соседей.

С февральских дней прошло не более полугода, но эти немногие месяцы стоили долгих лет.

Люди кучками, семьями, толпами овладевали большою и сложной мыслью о необходимости всеобщего похода.

Молодежь двинулась, как разорванные льды в половодье, сокрушая в своем беге ветхие навыки, вызывая на бой улицу отцов своих, соскребая вокруг вьедчивую проказу минувших лет.

Было удивительно, но никто вокруг не удивлялся, когда четырнадцатилетняя Танька, дочь листопрокатчицы Широковой, выступила однажды в заводской школе среди девушек с предложением примкнуть к союзу ребят, у которых свое красное знамя и арсенал оружия.

Движение, открытое Танькою, захватило самые затхлые семьи, и даже Петрушка Сергеев, старший в семье паспортиста, сбежал как-то за город к стрельбищу и пропал затем с неделю из-за страха перед отцовскою плеткою.

Фрося Зотова, младшая в семье сталевара, а за нею Варенька, дочка того самого Карпухина, который ходил казначеем завкома, а за ними еще многие подростки собрались у монастыря, проникли за его ворота и потребовали из запаса святых отцов хлеба.

Толстозадый отец Лаврентий, игумен, отделался в этот раз испугом, но вслед за оравую детей к монастырскому амбару прибыли ребята под началом Парамошки, сына покойного Ключанцева. Эти всерьез почистили мо-

настырские кутки с зерном, выдали монахам расписку от союза молодежи и на трех ломовых телегах перебросили добычу в слободскую больницу, где хлебный паек доведен был до одной осьмой на день.

В заводском клубе, под который заняты были бараки военнопленных, Осип Нахимсон открыл запись тех, кто желал обучаться грамоте, — раз! — и тех, кто хотел участвовать в рабочем хоре Юшки Дуды, — два!

Сорокалетняя Елизавета Широкова первую явилась в кружок неграмотных и уже через неделю собственноручно вывела свою фамилию под очередную общезаводскую резолюцией. Расписавшись, она долго не отходила от стола, всматриваясь в свой росчерк. Несколькими позже, перед тем самым моментом, когда Фокин двинулся в открытое нападение на цехи, многолюдный хор Юшки Дуды исполнил во дворе завода, после митинга, «Интернационал».

То был триумф Дуды, когда все, кто тогда находился на заводском дворе, кричали хору «ура», а хорового управителя подняли на руки и качали под аплодисменты. Сам Вагин пожал руку Юшке: «Ловко, ловко, Ефим».

Дементьев и Вагин побывали на партийном съезде. Вернувшись из Петрограда, они повели кампанию за ускорение перевыборов в совет рабочих депутатов, организовали ячейки, где их еще не было, сочинили экстренно объединенное бюро профессиональных союзов, провели в казармах с целью усиления солдатского комитета совещание делега-

тов. И вдруг на одном из заседаний партийного комитета поставлен был вопрос о всеобщей стачке.

— Надо кончать! — сказал Вагин, разумея затянувшийся конфликт с правлением завода из-за установления нового рабочего дня.

И вот, почти все цехи отказались от сверхурочных работ, а затем заводской гудок, вопреки исконному расписанию времени, начал подавать свой голос размеренно через каждые восемь часов, причем рабочие организовано, по этому голосу, являлись в мастерские и выходили из них.

Тогда распоряжением Фокина в цехах было расклеено глазастое объявление:

«От сего 24 июля впредь до особого распоряжения работы на заводе прекращаются».

В тот же день завкому сообщили, что владелец завода В. С. Фокин выбыл в столицу, а его пост временно занял француз Леблон, видный пайщик акционерного товарищества.

В ответ на объявление правления общее собрание рабочих вынесло решение о введении рабочего контроля. На том же собрании был избран временный комитет по управлению заводом. Так как ни один из инженеров не вышел в мастерские и все табельные пустовали, комитет призвал к руководству надежных мастеров и опытных рабочих. На мартенах орудовала тройка во главе с литейщиком Кронидом Дементьевым, фасонный цех возглавлял сам председатель комитета Аким Башилов, а Томаса Ходжеса, мастера листопрокатки, подменили старики цеха. У прокатных станов хлопотали вальцовщик Уваров и я, Глотов;

по гвоздильному цеху рабочие выдвинули в начальство мастера Тукачева; в тянулке командовали Анна Рудакова и Евладова. Словом, не было цеха, который оставался бы в эти дни без призора.

Плавка в печах была выпущена к сроку, работы по разливу проходили в таком строгом порядке, о котором на канаве не слыхивали.

К концу недели Леблону донесли, что печи, станки, машины всюду на полном ходу и что склады едва управляют подавать сырой материал. Это сообщение вызвало у француза нечто вроде столбняка. Только благодаря паспортисту Сергееву он пришел в себя. Появившись внезапно, без доклада, в директорском кабинете, паспортист сообщил, что запасы нефти (ура, ура!) исчерпаны, а потому с часу на час (еще раз — ура!) следует ожидать остановки таких-то и таких-то мастерских.

Однако весть о близком крахе самоуправления рабочих оказалась преждевременною. Что было предпринято рабочими? Два заводских паровоза отправились на юг и вскоре пригнали с десятков цистерн нефти. Это было «пиратство», почтенные учреждения Временного правительства несколько дней подряд вопили о грабеже, о разбое рабочей вольницы. Но... завод торжествовал.

Изжив одну беду, рабочие поставлены были перед другою: в электрическом цехе сожгли мотор. Ермил Мальцев, дежуривший в комитете при этой оказии, бросился в цех, собрал всех монтеров, и те поклялись подохнуть на месте, а к утру исправить положение.

Так и было: в одну ночь монтеры проделали работу, которой хватило бы в обычных условиях на неделю. Это был первый героический шаг шугаевских пролетариев на производственном фронте, блеск тех славных побед, которые развернулись позже на трудовых суботниках и потом, уже в наши дни, выросли в события мирового значения.

Вскоре в комитет явился молодой инженер Давид Цукан, помощник Жбыхова по прокатке.

— Будь что будет, а мне со служащими не по пути, — заявил он. — Скажите, где я могу быть полезен?

Его отправили к прокатным станам, на пост руководителя цеха. Еще через день к работам приступили другие инженеры, но Росляков из болтового цеха и Бертран в ремонтных мастерских продолжали саботаж. Впоследствии оба попали в руки Тита Шеповала, ставшего во главе Чрезвычайной комиссии по борьбе с саботажем и должностными преступлениями.

Октябрь неудержимо приближался.

Ввиду нарастающих волнений по деревням губком партии отправил меня с кучкою товарищей по уездам, а когда мы, выполнив свою задачу, возвратились в Шугаевск, город праздновал победу советской власти.

Уличные схватки, трупы офицеров на кадетском плаце, дни и ночи, простроченные рокотом ружей, и потом — советы, исполкомы, комиссары... Бегство Корнилова, объявление Керенского вне закона, национализация банков, ревизия сейфов, разгром по-

мещичьих усадеб, мир без аннексий, декрет о восьмичасовом рабочем дне, контрибуции, конфискации, обыски... То были горячие дни, и по сию пору, вспоминая о них, удивляешься, откуда брались у нас силы, знания, умение заглянуть в будущее, все рассчитать, построить, как надо! Вот уж поистине росли мы тогда не по дням, а по часам, и я принял, как должное, назначение меня, вчерашнего токаря у вальцов, редактором печатного органа, а чуть позже — заведующим губернским отделом народного образования.

Анна работала со мною сначала по ликвидации старой школы и организации новой, а затем губком возложил на нее и Женьку Евладову все дело внешкольного просвещения.

О Фокине, заводчике, Шугаевск уже забывал, когда внезапно он напомнил о себе. Это были тревожные вести об англо-французах — на севере, о чехах — на востоке, о деникинцах — на юге. Нас медленно, но настойчиво окружали. Я говорю — нас, разумея не только Шугаевск, а всю семью советских городов, всю нашу родину. Еще вчера, униженные, гонимые, мы не имели не то что отечества, но и своего угла на земле. Сегодня мы знали: каждый час и вся жизнь наша навсегда и до последнего вздоха связаны с судьбою отечества... Отечество — это мы, а мы — это партия, завод, город, страна вся, и кто идет против нашей партии или вредит нашему заводу, обстреливает окраины нашей страны, тот идет против нас, подрывает наше существование, шлет свинец в нашу голову.

Погибнет наше дело — погибну и я вместе с моими товарищами: Анной, Кронидом Дементьевым, Шеповалом, — со всеми, кто близок и дорог моему сердцу... И еще знал я, что, когда враг вцепится волчьей своею хваткою в наш город с его заводом, тысячи и тысячи людей — на севере и юге, по Волге и у Невы — будут действовать так, как если бы моя кровь наполняла их вены, мой город был их городом, моя любовь — их любовью. И была в этом сила, которой не сломить никакому Фокину, даже если бы об-руку с ним поднялся на нас весь свет.

Думать, чувствовать так — счастье, перед которым меркнет всякая иная человеческая радость, даже радость первой любви. Впрочем, не так! Именно теперь, когда я, шугаевский токарь, обладал чувством неразрывности своей судьбы с судьбою революции, моя любовь к женщине, личное мое счастье приобрели особую немеркнущую силу... Как жаль, что обо всем этом я не сумел рассказать Анне до того, как над Шугаевском разразилась гроза.

А гроза надвинулась, ударила.

## V

В ту ночь, когда один из корпусов Деникина, прорвав фронт, занял с боем Шугаевск, Дементьев, Тит Шеповал и я находились в отряде заводской гвардии. Отряд дрался стойко, до последней возможности, тем самым обеспечив семьям ответработников выезд из города. Что касается партийных товари-



щей, то большинство их отступило вместе с частями Красной Армии. Анну я встретил в последний час на улице, в исполкомовской машине, подле Вагина, и был уверен, что она, как и Вагин, спешила примкнуть к одному из отрядов армии... Каково же было мне, когда, выбравшись кое с кем из красногвардейцев из огня, я на одной из глухих улиц города столкнулся с мадьяром Санто и от него узнал: Анна здесь, недалеко от Шугаевска. Всего час назад он, Санто, помог ей бежать за город... Куда точно скрылась она и что теперь с нею, Владислав не знал. Было бы бессмысленно с моей стороны пытаться искать ее. Из сбивчивого рассказа мадьяра я понял только то, что Анна не попала к отходу поезда с эвакуируемыми семьями и непременно угодила бы в лапы белых добровольцев, не случись подле Владислава: он бежал с Анною до самой окраины, и, ввиду преследования, ему ничего не оставалось, как отделиться от своей спутницы и тем привлечь на себя одного внимание преследователей.

— Анна — эту сторону, моя — другую! — говорил Владислав, стараясь успокоить меня. — О, товарищ Анна шибко бежал, а эти дурака, все разом, кинулся за мной...

Я слушал и смотрел по сторонам: надо было думать о спасении собственных наших голов. А уже светало, и от базарной площади явственно слышен был шум проходящего по мостовой казачьего войска. Должно быть, на площади собиралась конница. Нечего было даже помышлять о том, чтобы проникнуть к своим, в слободу. Оставалось одно: итти к

Пескам и там укрыться у кого-нибудь из городских товарищей. Так мы и поступили.

Приютил нас в своей усадьбе, в бревенчатой баньке, метранпаж губернской типографии, товарищ Орест, а чуть позже мы переехали в хату железнодорожника Антипова, на Пески.

Орест, бодрый, шустрый старик, — прокурорные дожелта усишки, очки в темных заношенных обручах, — поворчал, поохал над нами и в тот же день принялся «разбирать наборную кассу», что на его языке означало приводить в порядок людской материал, нащупывать связи, ставить каждого уцелевшего товарища на свое место.

Уже к концу недели мы располагали людьми у железнодорожников, на паровых мельницах, среди торговых служащих. Вместе с тем нам удалось закрепить явочные пункты: в бане Ореста — по Чижевскому району, в хате железнодорожника Антипова — для тех, кто был ближе к Песчаным логам. Центр связали мы с Проломами — под вывескою швеи Марфуши Нечаевой, девушки, замечательной своею сознательностью и бойкостью характера.

Никогда не забыть мне удивительного этого времени, наполненного работой, в которой проигрыш оплачивался ценою жизни... Удача вызывала у нас азарт, а при неудачах мы спешили с меньшим азартом наверстать потерянное. Между прочим, в недолгий этот срок, в двадцать каких-нибудь дней, многие из нас научились оставаться веселыми в самые критические моменты. И так — чем гроз-

нее была обстановка, тем в большей степени охватывало нас желание не считаться с трудностями и даже подшучивать над своим положением. К сожалению, это самочувствие сменялось у меня порою настроением, близким к тоске, а тоска разрешалась обычно припадками бессильного бешенства. Случалось такое в часы вынужденного безделья, когда особенно неотвязно думалось об Анне. На работе, в самые напряженные ее моменты, мы, повторяю, держались отлично.

Работу нам предстояло вести, оставаясь невидимками. И если это было трудно для Ореста, Марфуши, Антипова, неизвестных врагу в прошлом, то мне с Владиславом невозможно было, казалось, даже выйти при свете дня на улицу. И, однако, надо было начинать.

Владислава тянуло испытать силы в белых казармах, меня на заводе, но мы оба понимали, что наши желания пока неосуществимы: тут нам не помогли бы ни маскировка, ни самые отличные документы. И уж, конечно, нельзя было даже мечтать о прямом нашем участии в борьбе против тогдашнего безудержного хозяйничанья своры меньшевика Савина. В удел нам оставались вылазки, внезапные налеты и... общее руководство делом, какое Орест определял как боевую «перевертку» живых сил Шугаевска.

Весть о гибели Тита Шеповала, об аресте сталевара Зотова вместе с другими старыми рабочими вызвала у нас растерянность. К счастью, Оресту вскоре довелось ухватиться за нить, ведущую к заводскому подполью.

Вернее, подполье само отыскало старого метранпажа, затеяв вооружение типографскими средствами. Раза два я слышал в эти дни о литографе Нахимсоне, но то ли благодаря склонности Крониды Дементьева к строжайшей конспирации, то ли в силу самого характера нашего крайне замкнутого дела мне так и не довелось повидать Осипа.

Мое свидание с Дементьевым состоялось двадцать первого сентября, в ночной час, у Песчаного лога, неподалеку от жилья Антипова. И в том, как обставил Кронид встречу — один-на-один, в том, как повел он себя дальше в сношениях с нами, я признал прежнего, знакомого мне еще по бегству из ссылки, невозмутимо расчетливого вожака.

Деловито, почти сухо мы обменялись кое-какими планами на будущее, причем Кронид особенно настойчиво говорил о Подлужье, где в семнадцатом году я работал по деревням. Он находил, что оба мы — я и Владислав с его военными знаниями — были бы весьма кстати Подлужью, если не теперь, то на ближайшее время. Повидимому, Кронид собирался упрятать нас подальше ради, конечно, нашей безопасности, и я горячо принялся излагать ему соображения о работе здесь, в Шугаевске. Возможно, что в моем голосе литейщик подслушал горечь ревности: почему именно я, Готов, должен покинуть город в то время, как он, Дементьев, шел на риск, оставаясь вблизи завода? Я не произнес это вслух, но Кронид разгадал меня, и даже в темноте мне почудился сурово мерцающий взгляд его глаз. Он сказал:

— Собственно говоря, Никита, твое место не в Подлужье и не здесь, в роли искателя приключений, а у нас, в штабе... Твое участие в руководстве...

Я перебил его:

— Что касается руководства, то и среди городских товарищей мне хватает забот...

Не вполне, должно быть, соглашаясь со мною, но не желая спорить, вернее, считая, по опыту прошлого, бесполезным спор там, где мною принято было решение, Кронид после паузы заговорил вдруг о типографии: найдено подходящее место, имеется станок, накаплиется шрифт («Орест!» — подумал я), а вот с бумагой худо. Нельзя ли, раз уж я остаюсь «пока» в городе, предпринять что-либо для добычи бумаги?

С тем же успехом подполье могло предложить мне раздобыть артиллерийские снаряды или дюжину пулеметов. Но ни снаряды, ни пулеметы на очереди не стояли, — Кронид говорил о бумаге, и говорил с такою спокойной озабоченностью, точно я, Никита Глотов, заведывал в городе бумажными складами.

Невольно я рассмеялся, но вслед, вспомнив о близости Антипова к железнодорожным грузам, задумался. Ведь не по воздуху же доставлялась шугаевским типографиям бумага?!

— Попробуем, Кронид, — молвил я, оживляясь. — Через день-другой Орест передаст вам о наших возможностях.

Дементьев умел не только молчать сам, но и не мешать другим быть сдержанными в слове. Он удовлетворился обещанием «по-

пробовать», не требуя от меня подробностей. Я принял это как доверие себе и на этом основании поинтересовался, как обстоит дело с подготовкою текстов для листовок.

— Видишь ли, — сказал он, — у нас кое-что имеется, но маловато... Придется, Никита, посидеть тебе и над этим, человек ты писучий...

— А что надо в первую очередь? — спросил я.

— В первую очередь — обращение к заводским, — наказал он мне, и мы расстались.

На последний мой вопрос — об Анне Рудковой — Кронид откликнулся с тревогой: разве Анна не выбралась из города? Он не знал ничего, и я торопливо передал ему все, что слышал от Владислава. «М-да», — произнес Кронид, выслушав меня. В темноте я различал лишь его кепку, подстриженные, валиками, усы, бритый подбородок. И я не увидел, а по этому загадочно горькому восклицанию догадался, как все в лице у него озабоченно засуровело. Он ушел, не проронив больше ни звука, решительно, солдатским шагом.

Второе наше свидание произошло на том же месте дней через семь. За день перед тем нам удалось добыть бумагу, и я получил от Крониды, окрыленного нашим успехом, новое задание. Между прочим, он сообщил, что Красная Армия перешла от обороны в наступление. Значит, шугаевцам надо поторапливаться с боевой подготовкой.

Ограничивая наши встречи, Дементьев был прав. Расчетливо-холодный в каждом своем

шаге, он требовал осторожности и от нас, благодаря чему наше вмешательство в работу городских товарищей происходило не иначе, как через Антипова и Марфушу. Кстати, о Марфуше: это она, заведя связи по своему портняжному ремеслу с заказчиками из офицеров, оказала мне с Владиславом немало услуг. Прежде всего, она снабжала нас обмундированием и однажды ухитрилась на целых шесть часов задержать для нас ремонтируемую ею офицерскую шинель.

Стремясь сохранить возможно дольше свои головы, мы постарались, как говорила об этом Марфуша, перелицеваться: я снял наголо кудрявую свою шевелюру, Владислав — прекрасные, цвета вороньего крыла, усы. Затем я счел необходимым прикрыться роговыми очками, а мой товарищ начал отращивать пушок у челюстей, на манер британских моряков.

Одежду мы меняли в зависимости от нашей очередной роли, документы — также. Я говорю об удостоверениях и приказах по гарнизону генерала Саханова, которыми снабжала нас через Дементьева штамповочная мастерская подполья. Что касается паспортов, то для Владислава был выправлен воинский билет, с пометкой о болезни, на имя херсонского мещанина Грекулова. А я не расставался с моим подлуженским паспортом, ценность которого заключалась в том, что выдан был этот документ еще до революции и лицо, в нем указанное, Ефим Андреевич Панфилов, действительно существовало ког-

да-то... Впрочем, на работе, какую мы затеяли, нас, в случае провала, не спасли бы и самые крепкие документы.

Первые наши шаги увенчались успехом, особенно предприятие с бумагой. Бумага нужна была нам, как взрывчатый материал саперам, но овладеть этой драгоценностью в открытом бою мы не имели сил. Именно для того, чтобы организовать силы для открытого боя, нам необходима была бумага.

Располагая «удостоверением» от материального отдела губернской типографии и дубликатом накладной на товар, мы при содействии Антипова, знавшего все ходы и выходы на товарной станции, переняли без помехи из только что прибывшего вагона изрядный запас бумаги. Груз этот в ту же ночь отправлен был, куда следовало, а к утру железнодорожный товарищ имел в своем распоряжении «обратную накладную» с распискою должностного лица.

Вторым нашим предприятием была вылазка за перевязочными материалами и медикаментами. В этот раз мы едва не попались. Набрав в аптекарском складе по ранее заготовленному списку материалы для одной из гарнизонных амбулаторий, мы внезапно оказались в отчаянном положении. Обещанная нам повозка из-за нераспорядительности листопрокатчика Мальцева к сроку не прибыла, и мы — я и Владислав — более часа находились в состоянии накрытых беглецов. В любую минуту могли появиться работники того или иного воинского участка, быть может, —



чем чорт не шутит! — из той самой амбулатории, интересы которой мы с Владиславом самозванно представляли. А тут еще — складской провизор. Вглядываясь в наш список, он ворчал и плевался по поводу безграмотности врачей и, главное, из-за нежелания их считаться с оповещениями склада об отсутствии хинина, перекиси водорода, еще чего-то. Требование наше на два килограмма спирта он, смерив меня брезгливым взглядом, убавил до трети просимого. Но и той драгоценной жидкости, какую провизор отпустил, оказалось достаточно, чтобы спасти нам жизнь, а подполью — перехваченные нами медикаменты.

Вот как обернулся этот трудный случай. Когда мы уже теряли надежду выпутаться, на склад от центрального лазарета прибыл за своею поклажею грузовик. Я тотчас же бросился во двор к шоферу, и через несколько минут мы со своим грузом неслись по улицам на машине.

Владислав уселся в кузов, я — с шофером. Шофер оказался одесским портовым грузчиком, а по специальности, приобретенной в мировую войну, мотористом и шофером. Белых он из-за подневольной мобилизации крыл всячески, не стесняясь моей военной шинели, о красных представлениях этого человека ограничивались слухами. Но для агитации времени у нас не было, и я успел лишь озадачить одессита сообщением о бесчисленных красных полководцах из вчерашних грузчиков и шоферов.

— Ей-бо?! — вскричал одессит.

— Даю на отсечение руку! — заявил я и приказал Владиславу подать штофец со спиртом.

Смекнув немедля о значении появившейся в моих руках склянки, бывший одесский грузчик на полном ходу завернул машину в попутный тупичок. Здесь он извлек из-под сиденья жестяной стаканчик, дунул в него, отер рот полою пиджака и, пока я возился со штофом, звучно глотал слюну.

— Генерал не генерал, а по-генеральски промчать могу! — обещал он, вслушиваясь в бульканье льющегося в его жестянку спирта.

Приложившись к посуде, он некоторое время крутил головой, откашливался и брался по поводу повального жульничества аптекарей, разбавлявших будто бы всякое лечебное средство водою.

— С такими ехидами навоюешь! — с горечью говорил шофер, разумея аптекарей.

После повторного угощения одессит готов был ехать с нами хоть до самого Черного моря. Мы удовлетворились менее продолжительной дорогой. Убедившись в полной потере шофером представления о времени и месте, я высадил Владислава с нашим грузом в бурьянах Чижовки, а сам повернул с шофером обратно. Проколесив по улицам и переулкам до того момента, когда машина уперлась в ворота полуразрушенного какого-то здания, я выпрыгнул на мостовую и неспеша направился прочь.

Я брел улицей, а уже глубокие сумерки

окутывали город, и был, верно, предпраздничный день — колокольные звоны перекатывались с края на край под низким пасмурным небом.

И я вспомнил об Анне, которую, быть может, никогда уже не увижу, вспомнил о Крониде Дементьеве, чья вся жизнь наполнена тревогами, вспомнил Шеповала, кому безразлично теперь, какое небо висело над Шугаевском, потому что он переступил за черту возможных человеческих страданий и не нуждался уже ни в солнце, ни в ласке.

Что это? Усталость, расхлябанные нервы? Или опять подкрадывалась ко мне одна из тех минут, когда после напряжения всех сил тоска переполняла мою душу? Не в такие ли минуты понуренности родитель мой страдал запоем, бил у соседей стекла, вмешивался в уличные драки?

Гулы колоколов, далеких и близких, густых, как пропитый бас церковного хора, визгливых, как лай голодной суки, скакали, метались над сумеречными улицами, над глухими мокрыми заборами, над заброшенными, похилившимися рекламными витринами.

И вот:

Ах, Кубань, ты наша родина,  
Вековой наш богатырь...

Песня! Ударила из жерла соседней улицы, приглушила колокола, набросилась на меня многоголосой сворой.

«Ах, Кубань, ты наша родина...» — ревели, подвизгивали, присвистывали хрипучие, простуженные, прокуренные глотки, и мерный

грузный цокот по булыжнику отдавался в моих ушах стальным ливнем.

Выйдя на угол, я смотрел, как подвигались — четверо в ряд — кони и люди, смутные, подобно призракам, и вместе с тем вызывающе шумные, как сама нынешняя шугаевская явь.

Тоска моя росла, прочнела, и я уже слышал первые глухие толчки в голову, в мозг. Смятение, бешенство готовы были охватить меня.. Недожеванные в детстве корочки окаменелого хлеба, обкраденный сон, растерзанная, измятая, опохабленная в самом расцвете ребячья весна, и жестокость старших, и уличный блуд, и обман, жуть на каждом шагу, — все вдруг хлынуло на меня, отуманило голову, закачало сердце...

А кубанцы подвигались улицей, цокотали железом о булыжник, гремели песней, и не было, казалось, конца осатанелому их потоку.

До боли в пальцах сжал я рукоятку старенького антиповского (от пятого еще года!) «бульдога» и, не оглядываясь, пошагал туда, где не раз в эти дни мы размыкали тоску-кручину свою.

Марфуша! Сколько их, безвестных, самоотверженных, преданных нам матерински, было тогда в рядах тыловых бойцов, и не им ли, позабытым в сиянии иных героических дел, не во имя ли их, первых дочерей революции, должны мы сложить песни благодарности и восхищения?

Марфуша была одна в своей горнице, заваленной портняжными материалами, узелка-

ми с тряпьем, какими-то кадками и ящиками. Под картонным абажуром светил электрический пузырь, ядовито зеленели фикусы на подоконнике, и там, в углу, на ящике, укрытом самодельным вязаньем, рядом с гребенкою, рядом с праздничной голубенькою лентою, блистал ослепительно осколок зеркала. Единственное окно, обращенное в каменный колодец, как всегда вечерами, завешено было простыней.

Она сидела (без ботинок, в блузке, едва пристегнутой у горла), на огромном, как станок, столе и шила.

Дверь в горницу, с площадки лестницы, оказалась не на крюке, и эта забывчивость Марфуши поразила ее самое. Завидя меня, она вскрикнула, соскочила со стола и, не выпуская из рук вещи, похожей на офицерский френч, ожидала меня. Синие глаза ее с набухшими от тревоги зрачками были совсем темными; она помигивала и щурилась, словно близорукая, в полураскрытом рту ее белели крепкие, как у зверька, настороженные зубы.

Старательно набросив крюк, я ворчливо спросил, с какой стати Марфуша живет нараспашку? Не откликаясь, она устремила на меня тревожно ожидающие глаза.

— У нас все благополучно! — проговорил я, сняв шинель и освобождаясь от своих роговых очков.

Шумно, всею грудью, как тяжесть, выдохнула швея воздух и, подшагнув ближе, уткнулась головою в мое плечо.

— А Владислав? — спросила она шопотом.

— Он остался с грузом.

Тогда Марфуша потащила меня к столу, усадила в старенькое скрипучее кресло, кинула прочь свой френч, подгрестила на столе тряпье и заметалась по горнице.

— Селедочкой тебя угощу, Никита, с настоящим подсолнечным маслом... И — картофель... И еще — вот! — она бережно поставила на стол тарелку с тремя ломтями хлеба. — Это тебе, это Владиславу возьмешь, а это... мое!

И, захватив кусок, она, не садясь, принялась за драгоценный хлебный мякиш.

— У меня кусок не шел в горло, Никита...

— Ефим! — поправил я, принимаясь за яства.

— Ну, да... Ефим... Все думала, все думала, Ефим! А вдруг попадетесь, а вдруг не получится у вас...

Она говорила, не сводя с меня глаз, и вместе с хлебом как бы глотала все, что видела у меня. И, конечно, от нее не скрылось мое хмурое настроение.

— Кипяточку сварить, нет? Да ты ешь, ешь... Это все твое! Я селедку не очень уважаю... Значит, с кандибобером?

Заставив меня покончить с последнею крошкой, она осмотрела на свет ту самую шинель, в которой сегодня я выступал перед аптекарем в роли ротного фельдшера: «Цело, не порвал?» — и снова принялась за френч.

— Шинельку-то утром придется вернуть... А у меня срочный заказ, миленький! Даже

два... Этот и потом заправка новых погон для одного прапора.

— Ого! Не слишком ли усердно обшиваешь ты прапоров? — заметил я.

Она промолчала, устраиваясь на столе с ногами, как истая портняжка.

Что-то, похожее на мужское любопытство, колебнуло мне сердце: такая она, Марфуша, вся крепкая, столько в упруго поджатых ее коленях уюта, ласки... Вслед я догадался, что никогда не решился бы принять ее как женщину, чувственность отступала здесь, словно меня с Марфушей разъединяло близкое родство.

— Чем же, скажи, платит тебе прапор? — скосил я глаза на френч в руках Марфуши.

— Товарищ Панфилов! Пришпиль свои нервики... А за прапора радуйся... Прапор мог бы без хлопот сдать свою вещь военному портному, а предпочел частницу!

— М-да... А чем это предпочтение обернуться может?

Выходило как-то всегда так, что, помимо воли, я раздражался при виде стараний Марфуши над офицерскими заказами. Со вздохом она напомнила:

— Я, Никита, не хуже тебя могу стрелять, метать гранаты и... вообще... бить, бить их... Но я терплю, потому что... так надо!

Я примирительно задержал ее руку с иглой, и она тотчас же улыбнулась мне, но не просто, а хитренько, так, что вокруг рта заиграли змейки.

— Все вы, без исключения, наускаиваете

петухами... А подумать — из-за чего? Все равно ведь мы их угробим!

Она рывком перекусила нитку и ожидала, что скажу ей, но мне уже безразличны были заказчики Марфуши. Понурившись, я молчал.

— Слушай, Никита... Пойди ты за полог да ляг... Да знаешь — не остаться ли тебе с ночевой? Куда теперь, на ночь глядя?

Я молчал, испытывая тягу к покою, к чистому постельному белью, к отдыху под охраной этой милой девушки.

— Хорошо, Марфуша.

Она готова была немедленно заняться устройством постели, но я задержал ее.

— Бумагу прошлый раз ты не извела? Мне надо листовку составить...

— Завтра, Никиточка... Отдыхай!

— Нет, я и так затынул!

Она соскочила со стола, достала из какого-то укрытия в дальнем углу бумагу, карандаш, расчистила для меня место на одной стороне стола и снова принялась за шитье.

Некоторое время я молча работал. Последние номера деникинских газет были полны статей по земельному вопросу — замечательный материал!

— Знаешь, Марфуша, господа генералы отменили всякие ограничения земельных сделок и теперь землю распродают сломя голову! Кроме того, вышел закон: каждый, кто засеял помещичью землю, обязан треть урожая отдать землевладельцу... Ты понимаешь, чем все это пахнет? Деникин в приказе прямо заявил, что господам помещикам нечего бес-



покоиться: все равно-де узаконим землю за владельцами...

— Об этом и пишешь?

— Об этом и пишу... Главное — попроще, поясней... чтобы последний парнишка на деревне разобрался!

Когда я покончил с проектом листовки, Марфуша снова намеревалась заняться постелью, но и в этот раз я остановил ее:

— Скажи, Марфуша, ты с Анною Рудаковой часто встречалась?

Она живо откликнулась:

— С Анкою мы обучались в отряде... Мы с ней да еще с Женькою Шеповаловской — закадычные!.. А что?

— Так.

— Эх, здорово жили тогда... прямо с кандидатобером! — продолжала она. — Бывало, ног под собою не чуешь, а в столовке соберемся — тут и пошло! Разговоры да шутки...

Она вкрадчиво посмеивалась, покачивалась из стороны в сторону. Легкий запах потной кожи, свежего белья, мешаясь с запахом шинельного сукна, оведал меня при каждом беспокойном повороте ее тела.

— А ты к чему об Анне спросил? — заглянула она на меня.

— Да так, ни к чему! Просто — пришла на память.

— А часто? — не унималась она.

— Что?

— Часто... приходит?

Марфуша не смеялась.

— Кто-нибудь из наших заглядывал эти дни? — меня разговор, спросил я.

— Володька Пушкин был.

— Типографщик? Зачем?!

— Да так... пришел на память! — передразнила она меня и, помолчав, продолжала: — Владислав в казарму рвется... Прошлый раз просил через тот вон френч разнюхать: какие порядки и прочее?

Она поймала выражение досады на моем лице и умолкла.

— Ты о дисциплинке забыла? — проворчал я.

— А что?

— А то, что никаких затей мы не позволим вам с Владиславом! — усилил я голос.

Она густо покраснела.

— Ой, о Владиславе что угодно думай, а я с февральской революции в партии и знаю, откуда плясать. И Владиславу твоему это самое сказала. Разнюхать, говорю, можно, а что до дела, так ты мне от комитета слово принеси.

— Правильно, — одобрил я.

Некоторое время она молча посверкивала, откидывая руку, иглою. Смущение проступило на раскрасневшемся лице ее, и у меня явилась догадка, что так, как она сказала мне, она не сказала Владиславу, но теперь-то уж непременно скажет. И то ладно!

— Никита! — Она подняла от шитья голову. — Генеральскую газетку видел сегодня?

— Нет, а что?

— Брешет газетка о всех вас... И об Аннушке тоже...

Она потянулась к подоконнику и из-за простыни достала листок генеральского «Эха».

— Гляди, какие сволочи!

Я отыскал пространную заметку под заголовком: «Кто они?»

«Кто они, — писала газетка, — эти узурпаторы, самозванцы, осмелившиеся посягнуть на исконные устои государства?..»

Пропустив витиеватое введение, я задержался на «разоблачениях», касающихся Вагина, Шеповала, Дементьева.

Писака не забыл и обо мне.

«Отец — кабацкий приказчик... сын едва осилил грамоту и прямо из сибирской ссылки...»

К чорту! Где же об Анне? Ага, вот:

«Рудакова! Сказать, что сия инспектрисса из советского наробраза — просто недоучка, еще мало. Знающие семью Рудаковых говорят... что партия большевиков... обязана существованием в ее рядах Рудаковой... прежде всего, родителю девицы — полицейскому надзирателю завода, Ивану Прищепину, прозванному... в обиходе... Ванькою-Каином. Говоря проще, Анна Рудакова, удочеренная каким-то Евграфовым...»

Я смял листок, отбросил его. Марфуша что-то говорила мне, негодуя, но я слушал ее плохо. Вместе с чувством брезгливости к темной стряпне генеральских писак у меня поднялось, помимо воли, что-то близкое к досаде... против Анны, и я пытался осмыс-

лить, в чем же Анна виновата передо мною? Тут мне припомнилось, что я ровно ничего не знал об отце Аннушки, что она до самого последнего дня скрывала что-то, отмалчивалась и выражала явное нетерпение, когда к ней обращались с расспросами о ее детстве. Ну, вот и домолчалась: всякий негодяй мог нынче строить какие угодно догадки...

Заметив мою рассеянность, Марфуша решительно отложила шинель в сторону.

— Я тут разговоры веду, а мой мальчик с рассвета на ногах, — молвила она с певучей нежностью и, покинув стол, направилась за ситцевый полог.

Чуть погода она позвала меня:

— Скидай свои ризки, укладывайся!

Расположившись в чужой постели, я попытался забыться, но, несмотря на усталость, это не выходило у меня. Мысли о завтрашнем дне, о новой вылазке, которая нам предстояла, об Анне, преследуемой врагами, осаждали меня.

— Ворочаешься?

Мягко ступая по полу, Марфуша вошла за полог, поправила что-то в моем изголовье, присела на край койки.

— Забыла, Никита, рассказать... Вчера была в клубе «Заря», у швейников. Вот народец! — охнула она. — Два часа всякую ерунду пороли, а пуще всех Омелечкин. Закройщик один такой, из прихвостней меньшевика Савина. «Нам, говорит, одно теперь — добиться европейской де-мо-кратии, а добьемся... тогда хоть чорт, хоть леший сиди наверху, — безразлично!» Видал, в какую прореху тащат?

— Ты с этими молодцами осторожней! — посоветовал я. — Свои-то в клубе имеются?

— Были да сплыли! Которые с армией ушли, а об иных, вроде Ивакина, о сю пору ни слуху, ни духу, вовсе исчезли... Должно, пришили! — поежилась она. — Ты как, Никиточка, в случае чего? Ну, там, скажем, засыплешься...

— С какой стати?!

— Нет, ты не шути... Я так решила: попадусь — живою не дамся.

— Нарочно не умрешь.

— Умру!

Она выговорила это спокойно, но так, что сомневаться в ее слове нельзя было, и я вздрогнул, представив себе синеглазую нашу Марфушу бездыханной.

— Живи, чего там! — поймал я ее руку и сжал в своей. — Еще увидим с тобою, как господа белые зададут лататы из Шугаевска... Говорили тебе, нет? Наши Тирбуны взяли!

— Да я, Никита, не сомневаюсь: белякам долго не просидеть... Ты вот за офицеров... касательно меня... опасешься... А я на них гляжу и думаю: «Ладно, пляшите, пляшите напоследок!» И не страшно мне с ними... Вроде бы как не всамделишные они!

Она говорила еще что-то, поглаживая мою руку, и наконец крепкий, без сновидений, сон овладел мною.

А Марфуша так и не ложилась в эту ночь: завтра ей надо сдать заказы и среди них — ту самую шинель, которая помогла мне добыть медикаменты.

Было утро, когда я открыл глаза. Из-за полога слышались позвякивания чашек, жужжание примуса, скрипы расшатанных половиц под осторожной стопою.

Я окликнул Марфушу, и она вслед ворвалась, — не вошла, а ворвалась ко мне за полог. Стремительно опустившись у постели, стукнув при этом о пол коленами, она накинулась на меня молча и буйно, с жадностью человека, который потерял самое дорогое в жизни и вновь вдруг обрел.

Моя голова покачивалась и моталась в ее руках, как бездушная вещь, но я чувствовал боль в жарких, беспокойных тисках этих, я попадал щекою, лбом, бровью то на пуговицу у горла девушки, то на что-то царапающее, может быть, на острия булавок. Только бы сохранить глаза! Я представил себе, что станется с моею физиономией, какая татуировка покроет мою кожу, и закричал:

— Марфуша, в чем дело?

Тут, изловчившись, мне удалось заглянуть в лицо ей, и мое веселье комом застряло в горле. Она плакала, слезы лились у нее неудержимо, и я уже ощущал соленую росу у себя на губах.

— Марфуша, Марфуша!

Она не унималась, позабыв, казалось, вовсе, что в ее руках кто-то живой, кому неудобно, а иногда и больно. Я понял: надо выдержать до конца и старался о том лишь, чтобы не попадать скулою и лбом в те места ее блузки, какие усыпаны были, как ветвь боярышника шипами, проклятыми этими булавками.

Наконец, несколько успокоившись, она всхлипнула всею грудью:

— Ах, я забылась на минутку за работой, и мне привиделось... Такое привиделось, что вот... с самого рассвета реву!

И, то повышая голос до горестного причитания, то сминая его в шопот, в шелест, она рассказала о нехорошем, грустном, просто даже ужасном сне.

Она брела, видите ли, полем, рвами, перелесками, и был будто бы день, и светило солнце, но все кругом тонуло в зловещей тени, и над самой головой у нее, овевая ее лицо ветром, летали большие птицы... И потом она видит: идет Тит Шеповал, а эти жуткие птицы преследуют его, и он, должно быть, не видит их, а только слышит, отмахивается, стонет, зовет на помощь. Марфуша хочет бежать к нему, бедному, и — не может, хочет и — не может. А потом вдруг подул ветер, такой ветер... Все вокруг почернело, зашаталось, наполнилось криками, стонами, визгами, и она побежала, а Шеповала уже не было... Был еще кто-то, а кто — ей не видать, но она знала, что это — наш Владислав. И вот здесь-то начинается самое... противное! Марфуша падает, ползет, зовет Владислава, а он не откликается, и она знает, что он близко: завалился в какую-то бучу, в трясину, и вот-вот его затянет, вот-вот вовсе затянет его... А эти птицы реют, реют вокруг, хлещут в лицо черным ветром. Тогда, собрав силы, она закричала, с криком и проснулась.

— Ой, бедный, бедный Владислав! — восклицала Марфуша, с новым ожесточением прижимая мою голову к своей груди. — Ой, как страшно все, как страшно!..

Смирившись, я затих под градом ее ласки, чувствуя, как ответно просыпается во мне жалость к ней, а за жалостью еще что-то, властное, грозное, беспощадное. Чтобы справиться с собою, я осторожно, но с силою отвел ее руки, засмеялся, сказал:

— И Владислава ты не спасла, и меня исцарапала...

С минуту она глядела на меня, не понимая меня, едва ли даже слыша то, о чем я говорил ей. Но тут что-то произошло с примусом, и она, как бы очнувшись, проворно бросилась от меня прочь. Воспользовавшись этим, я принялся одеваться.

Похлебав наскоро горячей жижи в прикуску с картофелем, я выбрался черною лестницей во двор, оттуда — на улицу.

Говоря строго, нам не следовало без особой нужды показываться на Проломах при свете дня, да еще с черновым наброском прокламации, но... соблюдая осторожность вначале, мы затем, как выражалась в шутку Марфуша, обнаглели и перестали считаться с уличными опасностями.

Я шел трюгаром, стараясь не задерживаться глазами на встречных и вообще не обращать внимания на улицу, где развертывалась утренняя жизнь прифронтowego города: скакали всадники, грузно подвигались отряды пехоты в щетине штыков, тархтели походные



кухни. И я не хотел думать о том, что видел. Я нарочито и сосредоточенно думал о своем, самом незначительном и обиходном, как если бы шел в прачечную за бельем или возвращался с рынка, прикидывая в мыслях, во что обошлась мне скаредность торговцев. И только так, отдавшись всяким пустякам, я более или менее непринужденно переносил ошупывающий взгляд чужих глаз.

Так, незаметно для себя, я очутился на плацу, перед зданием биржи. Толпа рокотала здесь приглушенными, как в бреду, голосами, тогда как в движениях людей и на их лицах кипело возбуждение, какое можно было принять за возбуждение, вызванное хмелем. Видывал такое я в далеком прошлом на базарных толкучках: те же блудливые, шмыгающие ящерами глаза, те же заношенные, обрюзгшие лица, тот же злой, исподтишка, многоустый шорох, напоминающий тяжелое дыхание драки под открытым небом. Но впечатление драки, бешеной, с поножовщиной, могло возникнуть только у впервые попавшего сюда. Оглядевшись и попривыкнув, человек видел, что нет — драки не было, кулаки не мелькали в воздухе, кровь не брызгала из разбитых рож... однако люди, несомненно, участвовали в отчаянном каком-то состязании. Может быть, это было ближе к тому, что каждому доводилось встречать на городских мусорных отвалах, на задворках мясных лавок, у протухших кровью скотских боен, где десятками бродили бездомные, голодные псы, вынюхивали, скалили друг на друга зубы и порою вступали в бой, глухой,

клыкастый, с подвизгиваниями, с летящей в воздухе шерстью. По крайней мере ощущение опасности — вот-вот вцепятся тебе в ляжку — было у меня все время, пока я пробирался среди биржевых маклеров, уличных валютчиков, спекулянтов всех мастей. Не раз меня тянули за рукав, опахивали мне лицо горячим гнилым дыханием, сверлили меня пронырливыми, тоже как бы зубастыми, глазами. «Беру марки», «Даю николаевки», «Есть партия шагрени», «Рыжики звонкой чеканки», — все эти шопоты, хрипы, придушенные возгласы сыпались на меня с разных сторон, и я передохнул лишь в ту минуту, когда попал наконец к чугунной ограде и вскочил в ближайшую ко мне, крытую кожаным верхом, пролетку.

— Едем? — метнулся ко мне бородатый извозчик в малахае.

Не объясняя, куда мне надо, не торгуясь, с единственным желанием поскорее вырваться отсюда, я ответил:

— Едем!

Суетливо оправляя упряжь, малахай говорил:

— Будете, барин, довольны, я на этом одре аж самих господ офицеров в энти дома вожу, к прелестницам!

В густой, курчавой, как овчина, бороде его криво играла улыбка, он подтянул у живота поясок, взобрался на козлы, завертел кнутовищем.

— Эв-ва, посторонись... Эв-ва! — выкрикивал он, направляя пролетку в самую гущу людских тел.

Конь всхрапывал, крутил хвостом.

— Поберегись, берегись! — приподымался малахай на козлах.

Забившись под навес пролетки, я таил дыхание, словно вот-вот на меня могли наброситься, выволочь меня наружу, вцепиться в меня. Среди рыщущих в толпе штатских я разглядел кое-кого под фуражками с цветными околышами, со свежими марлевыми бинтами на скулах, на подвешенных у груди руках-култышках.

— Эх, малютка! — закричал на коня извозчик, когда пролетка выкатилась на простор.

Обернувшись ко мне, довольно громко он сказал:

— Даю-беру... кто что может... Одних бабьих угощений нет, а все прочее имеется... Бабы нынче не в цене, золото подавай! — хмыкнул малахай в бороду и натянул вожжи. — Куда прикажете?

Странно, ничто как будто бы не угрожало мне, пока я тащился в пролетке улицами, и однако только за городом, на Песках, я перевел дух и огляделся с таким упое-нием, точно снова вернулся к Марфуше за полог.

А какое замечательное открылось мне зрелище! Из-за мокрых облаков проридалось солнце, и вот — необычайной свежести краски, как бы прямо с палитры художника, трепетали по лужам среди песков, на отлакированных сыростью заборах, по стеклам окон, по навесам над крылечками.

Сушная чепуха, когда так называемые лю-

бители природы, хвастаясь изощренным чувством своим, начинают расписывать красоты вселенной, ахать и вздыхать над просторами, над стремительностью линий, над каскадом живых красок. Суета сует — охи и вздохи эти, цена им — ломаный грош. Подлинное, самое трогательное чувство красоты, чувство связи нашей с природою открываются нам не с наблюдательной вышки любителя природы, а вот так, внезапно, исподтишка, и всегда в меру только что пережитых душевных волнений. Радость перед чудесами вселенной надо, так сказать, заработать, и тогда в одной капле под солнцем, в случайном мазке зари по меркнушему небосклону зазвучит могучая красота, заплещет, грянет громом в самой крови вашей.

...Третья вылазка прошла у нас без осложнений, хотя задача была не из легких.

На запасных путях товарной станции вторую неделю стоял эшелон с пленными красноармейцами. Они умирали от голода, и надо было во что бы то ни стало накормить их. Только силою можно было проникнуть в эшелон смерти, и об этом подумывали наши в подполье. Но мы обошлись без жертв и крови, без единого выстрела, да и кто знает, что случилось бы с нами и нашей затеей, решишь мы тогда, как предлагал подполью неистовый Мальцев, напасть на охрану с оружием в руках? Нет, и в этот раз мы не торопились прибегнуть к оружию. Оружие! Пустить его в дело мы в праве были лишь при полной уверенности в победе. Иначе мы сыграли бы наруку контрразведке, нас пе-

рещелкали бы, как перепелок, а красноармейцы так и остались бы ненакормленными. Тот метод борьбы, который мы применяли теперь, чтобы пробраться в лагерь пленных, и применяли раньше, добывая бумагу, медикаменты, был выработан в практике партизанщины и имел свои преимущества: здесь подполье рисковало лишь отдельными товарищами. Безусловно, для нас, взявшихся за дело, риск был огромный, работа требовала железной выдержки, перед этой работой бледнело все, что мы испытывали позже, в рядах стрелков, при самых жестоких атаках врага.

С помощью нехитро состряпанных бумажек и реквизита, добытого стараниями Марфуши, мы проникли к эшелону пленных: Владислав в качестве уполномоченного некоего достоверно существующего человеколюбивого американского общества, а я — в роли офицера шугаевской комендатуры. Кроме того, товарищ из Чижовки, одетый в солдатскую шинель, гнал за нами повозку с печеным хлебом и воблюю.

Весь успех нашего предприятия заключался в быстроте, в натиске, в дерзости, но дерзости расчетливой, зоркой. Всякая случайность, малейшее неосторожное наше движение, непредвиденное вмешательство кого-либо из белого гарнизона неминуемо повлекли бы за собою катастрофу. Вот почему мне и Владиславу вылазки эти стоили таких затрат нервных сил, что, право, их хватило бы на участие в десятках самых жарких сражений. Но иных средств у подполья пока не было, и мы без колебаний брали на себя задания.

Дежурный по охране пленных, безусый поручик, в новеньком, с иголки, мундире, принял нас независимо, так, как если бы только и делал, что встречал различных заморских особ. Откозырнув совсем по-европейски Владиславу — а м е р и к а н ц у, он, едва взглянув на меня, принял из моих рук пакет, тут же вскрыл его и, всматриваясь в препроводительную бумажку, слушал меня. Была минута, когда розовощекий поросенок в мундире, прочитав мою бумажку, заколебался. Тогда холодно я заметил поручику, что, если он не в состоянии справиться с иностранным посланцем, мне придется обратиться за помощью к более старшим по чину. Мой маневр, рассчитанный на честолюбие юного воина, возымел свое действие. Поручик молча, жестом руки, пригласил американца следовать за собою. Однако, когда мы уже были в нескольких шагах от лагеря, поручик вновь проявил замешательство. Отведя меня в сторону, он вполголоса заговорил со мною. На что, собственно, рассчитывали в комендатуре, давая иностранцу разрешение посетить эшелон? Не будет ли более целесообразным задержать гражданина Соединенных Штатов на известной дистанции от вагонов?

Было ясно: молодой человек, дорожа честью добрармии, не хотел, чтобы чужой глаз видел больше, чем следовало.

Я сказал:

— Исполняйте ваше дело, поручик, и не вмешивайтесь в мое!

И он, мой поручик, заторопился к вагонам, а я подал Владиславу знак: все улажено.

Владислав! Он стоял, сдвинув свой котелок набок, выставив напоказ американскую свою ногу, поигрывая начищенной заплатою ботинка. Встретившись с окаменелыми от любопытства глазами постового солдата, он послал ему суровый взгляд, отвернулся и затянул про себя:

Нем бушулок, бушулей, ан ало!  
(Геть скуку, пусть скучает лошадь...)

Услыша чужой, заморский язык, солдат переступил с ноги на ногу, а поручик, возвращаясь в эту минуту к нам, не сразу произнес свое:

— Прошу за мною!

С видом заправского курильщика, не обходившегося без глотка табачного дыма перед решительными минутами, поручик завернул на ходу полу и достал из кармана галифе серебряный портсигар. Не выдержав соблазна, Владислав потянулся к поручику с растопыренными в воздухе пальцами.

Я готов был толкнуть Владислава в спину, но поручик, находя желание иностранца вполне естественным, проворно поднес свой портсигар.

— Пожалуйста, сэр... сэр...

Он припоминал имя американца, обозначенное в бумажке, не мог припомнить и обратил свои глаза на меня. Но это проклятое имя, как нарочно, выпорхнуло у меня из головы.

— ...сэр Джон-Буль-Кентервиль! — прошипел я первое, что возникло в моей голове.

Чорт знает что! Меня бросило в жар, а гражданин сэр Джон-Буль-Кентервиль, выковырнув из портсигара поручика папироску, лопотал что-то и свободную руку прикладывал к сердцу.

Смущенный незнанием языка, но все же довольный своею обходительностью, поручик козырял, краснел.

— Боевая, сэр, папирос...

Мы роздали пленным запас снеди, и тут я убедился, насколько прав был поручик, не желавший обнаруживать перед иностранной державою состояние военнопленных. Это была могила из десятка товарных вагонов, где люди голодали, болели, умирали. Они лежали, вспухшие, как утопленники, тут же испражнялись, и вместе с зловонием кала и грязи на нас пахло сладковатым духом разложения: трупы умерших не спешили убирать.

Я видел, с какою жадностью несчастные хватили куски хлеба и как заботливо делились они друг с другом.

Мы уходили прочь, опустошив свои мешки, а за нами неслись вопли, причитания, брань.

Вблизи меня шел бородатый солдат из охраны, ноги его заплетались, винтовка в его руках непрочно шмыгала по плечу, а поручик, отдавая нам на прощанье честь, с угрюмой неприязнью взглянул на американца. Кто знает, быть может, безусый человек этот ненавидел сейчас весь мир и в нем — далекую Америку с ее монументальными городами и всеми этими человеколюбивыми обществами!

Я сказал:



— Господин поручик, это же не лагерь, а кладбище!

В ответ он только пожал плечами. Мы уходили, не оглядываясь, стиснув зубы, завидуя втайне тем, кто мог в этот час там, на фронте, палить по двуногим стервятникам, кидать в них гранаты, рвать их тела штыками.

Как ни неожиданно было то, что произошло вскоре с Осипом Нахимсоном (он погиб, захваченный толпою черной сотни у Проломов), но, право, когда я услышал о конце литографа, мне стало ясно: иначе с Осипом и не могло быть. Он шел по делам подполья и вдруг увидел неизвестного человека, преследуемого разъяренною толпою. Увидел и, пренебрегая опасностью, вмешался... И не я ли, покидая лагерь заживо погребенных, не я ли едва сдерживался тогда, чтобы не открыть из своего бульдога пальбу по скачущим, марширующим на улице рейтузам, лампасам, галифе?

Мы затевали новый поход к пленным красноармейцам, но план будущей операции мерещился мне в таких огромных, чреватых последствиями, масштабах, что я не решился заговорить на эту тему с Дементьевым. Странно, но до сих пор мне, как там, в сибирской ссылке, мерещилось, что Кронид хотя и любит меня, но насторожен со мною, ищет во мне, как бывало раньше, проявлений неуравновешенности, излишней темпераментности. Может быть, все это мне только казалось, но несомненно было одно: поныне я чувствовал Крониду много старше себя, между тем лишь три года отделяли дни нашего появления на свет.

Все еще не вполне доверяя явочным квартирам, Кронид и в этот раз встретился со мною ночью, под открытым небом.

О нашей удаче с вылазкою в эшелон пленных подполье уже было извещено, тем не менее я впервые видел теперь Дементьева в состоянии растроганности: он жал мне руку, оглаживал мою спину и даже произнес несколько фраз, выражающих одобрение комитетчиков. Вслед он подобрался, заглодел и повел речь, как всегда, в трезвых деловых тонах. Подполье было озабочено участью товарищей в тюрьмах, нарастающими событиями по деревням Подлужья, необходимостью связи с белыми казармами.

Я не знал, как и Кронид, что можно было предпринять, чтобы помочь товарищам в тюрьмах, но уже чувствовал в себе знакомую трясучку нетерпения.

Он меня одернул:

— О тюрьме выкинь из головы! Это дело обмозгуем сами.

И, не оставляя мне времени для возражений, он заговорил о казармах, где, по его словам, у белых далеко не все ладно, особенно среди новобранцев. В проломенских, например, бараках молодые кубанские казаки подстрелили на-днях кого-то из своего начальства.

— Пусть Владислав понюхает, ему обстановка знакома, а мы приготовим листовки... — говорил Кронид. — Кстати, о листовках... Не хотелось бы отделяваться здесь общим разговором. Необходимы факты, имена наиболее рьяных подлецов из командиров.

Помолчав, добавил:

— Лучше, Никита, если это дело пройдет под твоим руководством! И над текстом листовок посиди. Не возражаешь? Обращение к крестьянству у тебя вышло отлично! Вчера направили в Подлужье.

Он собирался оставить меня, когда я спросил, каковы настроения на заводе и что вообще там делается. В немногих словах обрисовав мне положение на заводе, он заторопился в обратный путь, и тут я упомянул об Анне Рудаковой: неужели до сих пор нет о ней сведений?

Кронид знал, как мне не безразлична судьба Анны. Он видел нас еще в ссылке и, тем не менее, только после прямого моего вопроса процедил сквозь зубы:

— Понимаешь, Анна в надежном месте, и ты можешь не беспокоиться за нее.

подавив свое волнение, я произнес:

— Так у вас связи с нею?

— Налаживаем.

Можно было взбеситься от такого предельно скупого ответа, но я не позволил себе задерживать Крониду расспросами. В ответе товарища было самое важное: Анна жива и пока... в безопасности! Разве мало мне этого после долгих и, не скрою, томительных дней безвестности?

...Ложь, друзья мои, когда люди, украшенные сединой и отличным прошлым, пытаются нередко представлять свое самое важное в жизни, как набор фактов, полных гражданской доблести и безразличия к радостям цве-

тущего сердца. Ложь! — говорю я. Потому что молодость при любых обстоятельствах ищет и находит свои радости, единственные, как сама жизнь — для каждого из нас. И ни гром пушек, ни кровавые тучи, застилающие наш путь, ни сама ежечасная угроза смерти, — ничто не в состоянии угасить тоску по близости кого-то, чей вздох чудится вам и в ночи перед битвою, и под склепом безнадежно глухой тюрьмы... Да и как могло быть иначе у солдата суровых тогдашних буден? Разве не за то мы и сражались, чтобы, победив, разомкнуть перед человеком все истоки счастья? И разве возможно было, не ведая, что такое счастье, не томясь по нему, драться, как дрались тогда тысячи молодых товарищей?

Кронид ушел, назначив новую встречу в час ночи одиннадцатого октября. Таким образом, в нашем распоряжении было всего пять-шесть дней, надо было приниматься за казармы немедленно.

Множество проектов было изобретено нами, но уже после первых разведок почти всё, что нами было намечено, оказалось пустою игрой фантазии. Лишь после настойчивых и довольно смелых кружений у казарм нам удалось кое-что ухватить и осмыслить. Безоговорочно отбросив подозрительное в наших планах, мы помирились для начала на следующем: определяем доступные нам и наиболее благодарные для нашей задачи пункты, например, охранную службу по цейхгаузам, по железнодорожным и загородным складам, и устанавливаем связь с отдельными нижними

чинами. Литература, листовки, беседы — тако-  
вы средства нашей работы. Цель — открыть  
людям правду, только правду — о Красной  
Армии, о героической борьбе ее, с одной сто-  
роны, о белых генералах, об интервентах, о  
помещиках и фабрикантах, с другой.

Чтобы укрепить результаты разведки, я  
должен был, соглашаясь с товарищами, при-  
влечь к делу кое-кого из железнодорожни-  
ков. И, понятно, нам, как никогда раньше,  
понадобилась помощь Марфуши, мастерицы  
не только шить и кроить, но и обращаться  
с людьми. Она быстро освоилась с предсто-  
ящей ей задачей, и уже на первом нашем со-  
вещании, посвященном казармам, мы приняли  
ряд ее предложений, мелких на первый  
взгляд, но безусловно существенных. Между  
прочим, она настояла на том, чтобы открыть  
пошире двери своей мастерской для нижних  
чинов. В результате этого уже через день  
она имела возможность посещать соседнюю  
казарму, держа при себе узелок, начиненный  
казацким бельем. Знакомства швели росли, как  
снежный ком, пущенный с горки.

Я с нетерпением поджидал дня очередной  
встречи с Дементьевым. Было чем похва-  
литься перед товарищами, обнадежить их.  
Между прочим, у меня скопился замечатель-  
ный, разящий материал для агитации, и я уже  
держал в своей голове «Воззвание к обману-  
тым братьям-казакам» — произведение, кото-  
рое, как мне думалось, должно было растол-  
кать даже мертвых.

Шугаевский гарнизон готовил пополнения  
фронту, в его частях были донцы, были ку-

банцы — казаки и пришлые, иногородние люди, были горцы, были мужики, вылавливаемые из зеленых отрядов, и был просто сброд — из беспаспортных бродяг, уголовников, вчерашних дезертиров. Все это людское половодье держалось под штыками, кое-как муштровалось и под штыками же отправлялось в действующую армию. И эта армия отступала под напором красноармейских дивизий. Армия Деникина катилась с севера на юг, трещала, разваливалась... Деникинцы воевали с большевиками, с Чечней, с Махно, с Петлюрой, с зелеными партизанами и — что особенно важно! — между собою: донцы с кубанцами, казаки с иногородними, офицерство с нижними чинами, сам генерал Деникин бросал вызов Украине, Грузии, горцам Кавказа, Кубанской казачьей раде.

Из газет, из писем с фронта и тыловых разговоров без труда я составил себе представление об истинном положении вещей. У меня накопился материал, которого хватило бы на книгу. Марфуша при встречах со мною снабжала меня живыми откликами новых своих заказчиков, главным образом, из иногороднего населения Дона и казаков-кубанцев.

«У нас ум за разум заходит, — жаловались иногородние из казачьих казарм, — не пойдем, за что проливаем кровь».

«Раньше мы хоть красных били, а нынче своих же братьев — хлеборобов», — вторили иногородним мобилизованные из окрестностей.

За воротами казарм казаки говорили:

«Измыгныв казачеству, Деника пышов за панами и генералами».

Молодой кубанец, по прозвищу Гусак, ухаживавший за нашей швеей, не скрывал ни своих симпатий к большевикам, ни своей ненависти к командирам.

«Як бы у большевиқов не було коммунистив, а у нас — генералов, — говорил кубанец, — то вже б давно и война закончилась!..»

Таких, как этот Гусак, прозревающих, но еще не прозревших до конца, в гарнизоне Шугаевска, по уверению Марфуши, было много множество, и к таким именно людям надо было обратиться с печатной листовкою.

Для начала я решил составить нечто вроде письма к кубанцам, изложив в нем историю борьбы Деникина с Кубанскою казачьею радой — историю, полную крови, грязи, жестокости, обмана.

«Сыны трудовой Кубани должны знать, что их отцы обречены голоду!» — так должна была начинаться моя листовка. — «По станциям Кубани — розги, расстрелы, грабежи...» И затем: «Кзаки! Поворачивайте свои штыки против генералов... Кзаки! Перед вами два пути: с помещиками и генералами — против рабочих и крестьян, или с рабочими и крестьянами — против помещиков и генералов... Выбирайте, пока не поздно!»

У меня был уже готов черновик, но кое о чем я предполагал посоветоваться с Дементьевым. Час нашей встречи близился, я переписал листовку начисто, отметил места, нуждающиеся в проверке. Но так мне и не довелось видеть Кронида. События развернулись стре-

нительно, и одним своим концом цепь их, внезапно разорванная, ударила по заводскому подполью, а другим — по нашему кружку.

## VI

Мы провалились. И как раз в тот момент, когда работа сулила обильную жатву. Начав превосходно свое дело, мастерская Марфуши обернулась для нас западнею.

Провал наш совпал с разгромом заводской организации, типографского филиала в городе, самого штаба подполья. Несомненно, белые искали только случая, который позволил бы им заглянуть через все заграждения подполья. Таким случаем, встряхнувшим контрразведку, поставившим на ноги все ее силы, было дело с бронетанками.

Благодаря своей близости к операциям железнодорожной станции Антипов имел возможность следить за эшелонами военного значения. Осведомившись о прохождении через Шугаевск на фронт большого состава с бронетанками, Кузьмич (такая у Антипова была кличка) немедленно передал об этом мне, а я, учитывая всю важность информации, в тот же день, не ожидая очередной встречи с Дементьевым, обратился к помощи старика Ореста. Тот, не теряя времени, передал сообщение комитетчикам.

Как и надо было ожидать, Дементьев не смог отнестись безразлично к новому мощному подкреплению белого фронта. Встреченный под покровом ночи группую отважных товарищей, эшелон с бронетанками рухнул под



откос, и с этого именно часа над подпольем загремела гроза.

Ничего худого не подозревая, излишне в последние дни самонадеянные и оттого менее обычного осторожные, мы собрались в один из свободных вечеров у Марфуши с ночевой — я и Владислав. Было около часу полуночи. Переговорив о всем пережитом, мы дружно примолкли: каждый отдался размышлениям о своем, личном, что, как ни гони его прочь, все же настигает нас.

На дворе гудел ветер, дребезжали снасти окна, вздувалась легонько простыня, которою окно было завешено. Непогожая ночь!

Я тяжело повернулся в своем кресле, вздохнул. Подняв от солдатской рубахи руку с иглою, Марфуша улыбнулась, спросила тихонько, не пришла ли мне на память, как прошлый раз, Аннушка Рудакова? Владислав услышал, подхватил:

— О, Анна! Я бы много давал, чтобы иметь ее сюда...

Он стал вспоминать подробности бегства с Анною в ночь, когда город был занят белыми. Вдруг Марфуша метнула в его сторону руку.

— Что ты? — окликнул я ее.

Не отвечая мне, она соскочила со стола и не побежала, а прыгнула к выходу, сбросила крюк, отпахнула дверь. Послушав, обернулась к нам. Холодная белизна заливала ей лицо. И еще до того, как Марфуша успела что-либо произнести, мы услышали то, что услышала она первая.

Владислав не попадал в завернувшийся ру-

кав пальто, и я одною рукой помогал ему, а другою застегивал крючки у своей шинели. Вот оно, отвратительное, что все время мы поджидали, но во что до самой этой минуты не верили. Вот оно, началось!

— Чердак... слуховое окно... водосток... — шептала Марфуша, вцепившись в мою шинель и не замечая, что мешает мне.

Отстранив ее, я шагнул за порог, на площадку лестницы. Бешеные гулы неслись из темноты, снизу, от выходной двери... Марфуша вздумала прощаться с нами.

Я наскоро склонил к ней голову и рванул-ся к чердачному лазу. Владислав, подхватив Марфушу, встряхнул ее в своих руках, оттолкнул, бросился вслед за мной.

Мы были уже на чердаке, когда снизу, под лазом, послышался голос Марфуши:

— Эй, кто там? Открываю!..

На чердаке было темно, из слуховой дыры навстречу нам дул сквозной ветер. Владислав первый просунул голову наружу и, поворочавшись, исчез в темноте.

То, что мы проделывали на крыше, стараясь не греметь железом, возможно было лишь при исключительном напряжении нервов и мускулов, какое испытываешь в минуту бедствия.

Владислав бежал по неосвещенному, залитому мраком, подворью, когда я, сорвавшись на последнем сочленении водосточной трубы, полетел вниз. Тут у меня выпали мои роговые очки, а затем я не сыскал в своем кармане бульдога. Прихрамывая, я возвратился к месту падения, старательно обшарил бу-

лыжник... Оружие мое исчезло, точно провалилось сквозь землю. В следующую минуту из глубины двора послышался густой хриплый голос:

— Стой!

Я замер, где был, но по переполоху, какой поднялся в глубине двора, понял, что кричали не мне.

«Владислава взяли!» — полоснуло в моем сознании, и с быстротою, едва ли в другой обстановке возможной для меня, я пронесся от угла дома к темневшему в стороне навесу. «Главное, не шуметь!» — думал я, взбираясь по непрочному какому-то хламу наверх.

Наконец я распрямылся, стукнулся при этом головою о балку, сполз по другую сторону подвижного вороха: доски, колеса, пустые ящики... К грохоту, какой я поднял, присоединились крики и брань моих преследователей. Я нащупал рукою что-то тяжелое, похожее на тележный шкворень.

Секунды неслись бурей в такт моему сердцу, и всё, что происходило со мною, утонуло в этом неистовом полете времени: я перестал чувствовать себя, я чувствовал только время, только те мгновения, какие отделяли меня от того скверного, несуразного, невысказанного, что готовилось по ту сторону моей баррикады. Голоса людей умолкли.

Вдруг я услышал, как щелкнул затвор винтовки: знакомый сухой звук стали, готовой изрыгнуть огонь и боль. И еще крепче зажал я в руке холодную металлическую тяжесть.

Пламень взрыва ослепил меня, но я не слышал гула выстрела, а только догадался о нем по сотрясению у себя под черепом. И странно, чудовищный, близкий, в упор, блеск огня возвратил мне память: неожиданно я вспомнил, что у Марфуши, в ее «тайнике», остался один из последних моих набросков для рабочей листовки, а в кармане у меня — сложенный вчетверо лист с проектом «Воззвания к обманутым братьям-казакам».

Выстрел повторился, но я уже не обращал на это внимания, отдавшись горестной работе уничтожения: я рвал, перетирал, приминал, клочок за клочком, свое воззвание.

Решив, должно быть, что со мной покончено, там, за моей баррикадой, начали перекликаться. Чиркнули спичкой, не то закуривая, не то желая посветить себе, и потом все вокруг смолкло.

Выждав какое-то время, может быть, весь час, а может быть, две-три минуты, нудные, как сама вечность, я решительно выбрался из своей засады и, крадучись, направился вперед, в непроглядную темноту.

Удар в голову свалил меня с ног, я не успел даже вскрикнуть.

Сознание вернулось ко мне в камере тюрьмы, куда меня бросили на тот, верно, случай, если бы я отдышался.

Я отдышался и, открыв глаза, увидел склоненную над собой голову кого-то невыразимо родного. Это был счастливейший момент моей жизни, это было открытие, сулящее жизнь: надо мною, посверкивая белоснежными зубами

ми, склонился Владислав. Помятый своими конвоирами, он едва двигался, но радость встречи со мною была сильнее страданий.

— Санто! — выронил я, не спуская с него глаз.

— Грекулов, — поправил он, возвращая меня к действительности. — Грекулов, камрад...

В самом деле, какой же Санто, если здесь, среди врагов, он вовсе и не Санто, а херсонский мещанин Грекулов!

— Жив, Грекулов?

— Зачем помирать, камрад?

Так, радостью, начался наш первый тюремный день. Но за первым последовали другие, и наша радость сменилась лихорадочным чувством озлобления, нетерпеливости. Наши тюремщики не спешили с нами. Может быть, потому, что еще очень мало знали о нас. Во всяком случае, мы были для них особами второстепенными, в которых им еще не удалось опознать подлинно опасных противников. В обильном потоке генеральских жертв мы потонули, подобно горошинам в закромах богатой жатвы. К тому же, до самого того часа, когда произошла развязка, наши жизни были в распоряжении комендатуры гарнизона, а генерал Саханов, как известно стало позже, придерживал, из-за неладов с начальником контрразведки, живой свой улов за собою. Даже и тут, в деле усмирения тыла, господа эти ухитрялись драться между собою. Сытые кровью, они скалили друг на друга зубы, едва ли сколько-нибудь сознавая всю опасность для себя этих раздоров. Но могло ли быть иначе

там, где история произнесла уже свой приговор и не годы, даже не месяцы, а считанные дни оставались у этих людей в запасе?

Однако, как ни велико было наше растущее изнутри, в самой крови, презрение к врагу, сила и власть были пока что в его руках, и мы могли рассчитывать только на счастливый случай, на внезапный удар по плененному городу с фронта, на собственные отважность и терпение.

Да, мы не теряли надежды, хотя и знали, что в любой час нас могли отправить на свал. Но... завтра — смерть, а сегодня... сегодня мы думали о жизни, преданы были ей, и ни голод, ни побои, ни постоянная угроза издевательств не в состоянии были угасить горения нашей мысли. О чем только не передумано было нами в эти долгие дни и ночи! Самые разнообразные планы строили мы, понимая, что каждый прожитой день — наш выигрыш. Одно мучило нас сильнее голода, сильнее самого чувства обреченности — это безвестность, полная оторванность от внешнего мира, неиссякаемая тревога за товарищей: что случилось с Марфушей, не постигла ли катастрофа заводских подпольщиков, не угодил ли в западню, в час назначенного мне свидания, Кронид? И потом... разве мог я забыть об Анне!

Однажды я услышал о ней. Мы потеряли счет дням: может быть, это было через неделю после ареста, может быть, много позже. Так или иначе, но однажды, в неурочный час, в сумерки, загремели в дверях нашей камеры затворы.

— Панфилов... приготовься!

Покидая Владислава, я думал о том, что едва ли вернусь к нему, но вслух не сказал об этом. По тому, как, прощаясь, он оглаживал дрожащей рукою мою голову, плечи мои, я понял, что и у него была та же мысль — о вечной разлуке. Но и он не сказал мне ни слова.

Меня втолкнули в раздрызганный, обшарканный короб автомобиля, и кто-то, безразличный ко мне, уселся рядом. Держа в одной руке наган, мой конвоир другою полез (вытянув для удобства ногу) в карман своих шаровар, достал пачку папирос, закурил, смачно сплюнул. Было видно: таскать арестантов вот этак, с наганом в руке, занятие для моего конвоира привычное в той же степени, в какой погонщикам скота привычно гнать очередную жертву на бойню, могильщику — заколачивать гробовую крышку.

Человек, обернувшийся вещью, человек, воспринимаемый как некое свойство наскучивших, но обязательных житейских занятий, — вот что было самым страшным мне в положении арестанта. Не тем жутка, непереносима была тюрьма, что в ней я лишен был свободы, голодал, подвергался издевательствам, а тем, что, переступив тюремный порог, я становился бездушною вещью. И ничем нельзя было помочь этому, и ничто не могло изменить такое ко мне отношение, губительное не только для меня, но и для всех, кто приставлен был ко мне. Даже продажная любовь, даже солдатская обреченность (пушечное мясо!) в старом продажном обществе были ме-

нее разрушительны для сознания человека, чем эта работа тюремщиков.

Докурив свою папиросу как раз в ту минуту, когда автомобиль остановился, мой конвоир выпрыгнул за дверцу.

— Вылазь!

Все же во мне предполагали способность слышать и подчиняться, то есть проделывать самостоятельно все, что хотели другие... Но и этого последнего во мне, делающего меня похожим на одушевленное существо, я буду лишен, когда пробьет мой заключительный тюремный час и руки палача без окрика, без единого звука подхватят меня: так погиб Тит Шеповал.

С мыслью о нем, не такой уж неожиданной в моем положении, я прошагал во двор, просторный и шумный, полный вооруженных людей. Затем через коридор, проплеванный, прокуренный, меня провели в помещение, похожее на переднюю, где не было никаких признаков мебели, но пол был старательно устлан солдатским сукном.

Услышав бряцанье винтовок, я оглянулся: двое солдат следовали за мною из коридора, и человек, сопровождающий меня, махнул им наганом. Затем, распахнув дверь, он переступил порог большой, похожей на залу, комнаты.

Первое, что здесь, в полусумраке, мне открылось, было мрачное, из темного дуба, гнездо: грузный, толстоногий письменный стол и вокруг — кресла с высокими резными спинками. Из-за стола, как ворон из своего гнезда, поднялся, отряхиваясь крыльями, смутный во мраке человек.



Сопровождавший меня перехватил наган в левую руку, откозырнул, что-то негромко произнес и отступил в сторону, давая мне дорогу к столу.

— Оставьте его! — проговорил от стола тоном приказа, касавшегося одновременно меня и того — с наганом в руке.

Мой провожатый скрылся вместе с солдатами, и тогда человек, выйдя из-за стола, сбросил с себя то, что казалось у него крыльями: шинель внакидку. Прикрыв плотнее дверь, человек вернулся на место и жестом руки указал мне на кресло против себя. Эта вежливость была знакома мне по прошлому: так начинали жандармы при допросах. Я остался на ногах, но человек окриком подтвердил свое желание:

— Садитесь!

Двинув тяжелым креслом, я опустился в него.

— Ефим... Панфилов?

Мой паспорт при аресте был отобран у меня, мне незачем было отказываться от этого чуждого мне имени.

— Да.

Человек щелкнул у массивной бронзы на столе выключателем. Яркий свет ударил из-под черного козырька лампы в лицо мне. Отстранившись от света, я взглянул на того, кто был за столом. В чужих, окутанных полумраком глазах блистало любопытство. Не неприязнь, не подозрительность, а только любопытство! Усаживаясь, человек вскинул обе руки, уложил их под свет, поверх бумаг. Бледные, желтоватые руки, с темным перст-

нем на указательном пальце! Такими руками не переносят тяжести, не направляют острие зубила у станка, не возятся в земле, вооружившись лопатой. Едва ли эти руки в состоянии держать, как надо, даже солдатское оружие. Я перенес свой взгляд от рук, похожих на плети оранжерейного растения, туда, где в осветленном сумраке маячило лицо человека: одутловатые бритые щеки, щегольские усы, старательно уложенные над вялым недоразвитым ртом, кокетливо раздвоенный подбородок, ямочка на подбородке и глаза, воспаленные, как при бессоннице, в редких ресницах.

— Итак, вы арестованы в связи с попытками подорвать тыловые силы добрармии, поднять восстание и прочее... Большевик, член подпольной организации?

В голосе звучала раздражительность, но глаза продолжали ощупывать, присасываться ко мне.

Я молчал.

— Отвечайте на вопросы, или я буду вынужден...

Он не закончил, встретив в моих глазах то, что должно было без слов убедить его в бессмысленности угроз.

— Впрочем, не будем ссориться... как вас? — переменил он, заметно сдерживаясь, тон. — Время дорого... господин Панфилов. Мы знаем все. Понимаете — все! Ввиду этого ваши ответы на мои вопросы...

Это было глупо, нудно. Жандармский ротмистр, допрашивавший меня перед тем, как отправить в ссылку, был куда как изобрета-

тельной. А с этим не было необходимости даже молчать. Конечно, он мог ускорить расправу, но ведь этого мне, все равно, не избежать. Я не собирался дразнить его... к чему бы? Тем не менее, помимо воли, во мне закипала брезгливая ненависть к этому господину во френче.

Вести борьбу с врагом, преодолевая многообразные средства облавы,— это одно, и совсем, совсем другое — столкнуться с врагом лицом к лицу в качестве обреченного. Именно в этом случае, помимо воли, зажигаешься потребностью смять самоуверенность противника, дать понять ему свое презрение. Все же я понудил себя к спокойствию. Человек во френче мог сообщить мне кое-что о судьбе товарищей.

— Если вы знаете все, то... к чему вопросы? — произнес я тоном равнодушия.

Он захватил из лежащей перед ним стопки одну из бумаг, скомкал, отшвырнул.

— Да, но вы должны помочь нам... вернее, себе... своим соучастникам... Избавить иных из них от слишком суровой кары... Взять хотя бы женщину, в квартире которой вас задержали... Говорю об этой... — Он заглянул на одну из бумаг в стопке: — Швея Нечаева... кто такая?

Я откликнулся:

— У вас не совсем точные сведения... На меня напали во дворе дома, куда я...

— Куда вы, — подхватил он, не скрывая косой, в усы, усмешки, — куда вы ухитрились спуститься со второго этажа по водосточной трубе и выронили при этом свое оружие!

Как видите, — продолжал он, поглядывая куда-то в сторону, — мы знаем о вас даже такие подробности... Но речь сейчас о Нечаевой... Отрицать ваше пребывание в ту ночь у этой особы просто бессмысленно... Итак...

— Итак, мне нечего сообщить вам о швее Нечаевой, — в тон ему заметил я.

— Нечего?.. Вы могли бы, по крайней мере, признаться, что провели со швеей приятную ночь... — Он скривил загадочно ус. — Серьезные чувства к одной не мешают вам принять утехи... другой! — Помедлив, он заключил: — Значит, мы ошибаемся?

— Значит, вы ошибаетесь.

— И все то, что произошло с Нечаевой в час вашего ареста, простая случайность?

Видя, что я не собираюсь откликаться, он приподнялся в кресле и, облокотясь о стол, заглядывая мне в лицо, понизил голос:

— Случайность — ваш арест вблизи квартиры швеи, случайность — хранение у этой женщины вот этих бумажонок... — Он порылся в стопке и кинул мне одну из последних листовок подполья. — Словом, сплошная игра случайностей... чорт возьми!

Он снова завалился в кресло.

— Видите, я не скрываю от вас ничего... Тогда как мог бы обойти молчанием многое, играть с вами...

Он умолк, заметив, что я не слушал его. Я действительно едва разбирал последние его фразы, проделывая (чтобы оставаться невозмутимым) нелегкую внутреннюю работу. Марфуша в плену! Никогда не увижу, не услы-

шу ее, еще одно отважное сердце перестанет или, быть может, уже перестало биться.

Я опустил глаза, представив себе Марфушу тут, у моего кресла, подле себя. «Ничего, ничего, Никита, крепись!»

И еще:

«Ты же знаешь, что, и умирая, я буду с вами!»

Марфуша говорила, как если бы в самом деле была рядом, дышала в лицо мне, поглаживала рукою голову мою. И — странно! — только теперь, только накануне печальной развязки, я вдруг понял, благодаря чему дорожил всякою возможностью побыть вблизи швеи, благодаря чему теплее становилось у меня на сердце подле нее. Анна! Она жила в каждом жесте Марфуши, в каждом ласковом слове этой девушки, ко мне обращенном. Так, нередко переживая разлуку с любимой, мы ищем и угадываем ее даже в случайно кинutom из чужого окна горячем взоре, даже в подслушанном мимоходом уличном девичьем смехе. А ведь Марфуша была подругою Анны, и они обе несли ношу общей работы, такие близкие, такие родные мне, что и теперь, прощаясь в своих мыслях с девушкой, я хоронил вместе с нею волнующую тайну своей юности, все лучшее, что было в любви, в подвиге, в наших надеждах.

Человек по ту сторону стола вновь о чем-то спрашивал меня, и я должен был прислушаться, хотя бы для того, чтобы знать о других, близких мне людях. Но он хотел слышать меня, его интересовал какой-то Бежецк,

неведомый мне городок, в котором когда-то кого-то я будто бы покинул.

— Припомните, господин Панфилов!

Опять в мутноватых воспаленных глазах проблеснуло любопытство, человек даже припал грудью к столу. Что же ему надо, чего он добивается от меня? Не пора ли прервать эти выпрашивания, дать понять ему раз и навсегда, что старания его напрасны?

Мое молчание, подчеркнутое замкнутым, неподвижным взглядом, начинало бесить человека во френче. Но и теперь он сдерживал себя, подкрадываясь ко мне и как бы опасаясь спугнуть меня. Он мог просто прихлопнуть свою жертву, но, повидимому, я был нужен ему нетронутый, со всем моим оперением и раскраской: сачок в руках охотника настороженно медлил. И на какой-то момент вдруг мне почудилось, что человек этот, не сомневаясь в своей силе, поджидал что-то, более любопытное, чем возможность покончить со мною.

Ему хотелось знать, помимо всего прочего, о моем положении в обществе до революции, о семье, о привязанностях.

— В конце концов, — говорил он, торопясь, точно кто-то мог помешать ему, — в конце концов, каждый живет не одними лишь абстракциями, именуемыми долгом, честью и прочее. У вас, как и у меня, Тышко-Судковского, были близкие сердцу люди... Например, любимая женщина... В такие годы, как ваши...

Я медленно поднялся из кресла, имея, вероятно, вид человека, которому опостылело соседство другого.

Он в свою очередь встал; от меня не скрылось то, как его глаза вспыхнули неприязнью. Но и в этот раз он не повысил голоса, только крепче ухватился за стол и взглянул так, как если бы готов был уничтожить меня. Голосом, подрагивавшим от сдержанного волнения, он проговорил:

— Мы не кончили... Скажите: среди женщин, которых вы знали, не знакома ли вам... — Он медлил, упершись в меня взглядом, облизывая кончиком языка ус. — Не знакома ли вам некая... носящая имя... Анны?

С шумом кровь хлынула мне в голову, и вслед я ощутил дыхание ледяного сквозняка внутри. Фуражка, которую все время я держал при себе, выпала из моих рук, и неуклюже, чувствуя, как никогда раньше, костлявую свою долговязость, я полез к ножкам кресла.

«Он закидывает петлю! — стучало мне в голову. — Мертвую петлю...» Вслух, выпрямившись, я выцедил сквозь зубы:

— Это все?

Отвечая мне, он нахмурился и даже, как мне показалось, вздохнул. Собственно, никакого вдоха не было, он лишь вобрал в себя воздух и выпустил его, вздувая пушистый навес усов.

— Все, чорт возьми, если не иметь в виду некоторой безделицы... жизни близкой вам особы!

Он снова завалился в кресло, достал из бокового кармана щеточку с зеркальцем на тыловой стороне и принялся очесывать, приглаживать усы.

— Вы отлично владеете собою, господин

Панфилов, и это, вероятно, нравится в вас молодым девушкам. Сильная... хе-хе... натура! Но перейдем к делу... Сядете вы или нет? Я не умею разговаривать, когда передо мною торчат.

Я подвинул к себе кресло. Он удовлетворенно хмыкнул, кинул зеркальную щеточку в сторону.

— Чтобы не тратить излишне время, ограничусь сообщением: та, о которой говорю, открыта нами. Возможно, что в своих показаниях она правдива. Возможно, это действительно одна из увлекающихся натур, для которых главное в человеке не его убеждения, а тот героический налет, который... Вы понимаете? Так вот, уличенная в общении с вами, она клянется, что не участвовала в ваших... затеях, а только... только была прилежна к вам... сердцем.

Он потянулся к щеточке и снова поглаживал, причесывал усы.

— Не думаю, что и теперь вы будете молчать, обрекая тем самым вашу... вашего друга сердца!.. Что, собственно, было у вас?— Он выжидающе откинул руку со щеточкой. — Если вы в свою очередь питали серьезное чувство, то теперь прямая ваша обязанность помочь несчастной девушке — подтвердить ее показания.

Чем больше он говорил, тем меньше узнавал я Анну.

Анна Рудакова, захваченная врагом, выступает перед ним в роли невинного агнца, клянется в своей непричастности нашему делу, ожидает милости. Нет, френч этот совсем не



знал Анны! Он судил о ней по многим, знакомым ему, женщинам.

Я представил себе ее здесь, на этом самом месте, лицом к лицу с этим человеком, и восхищение перед непреклонностью и силой, какие исходили от Анны, от вскинутой независимо головы ее, от серых, как сталь, глаз ее, охватило меня.

Я глядел на человека во френче, а видел свое. Он мог раскричаться на меня, угрожать мне любой карой, пристрелить меня на месте, но овладеть мною, моей волей, вот тем, что озаряло сейчас меня, он не имел ни сил, ни средств.

И он почувствовал это без слов и вдруг засмеялся. Да, он смеялся. В первый момент я не поверил своему слуху, своим глазам, но потом убедился, что человек смеется. Он как бы прикрывался своим смехом, прятал в нем свое замешательство, выражал им свое презрение. Он смеялся, чтобы казаться более значимым, чем был, чтобы оставить у противника впечатление, будто располагает какими-то, еще не использованными в борьбе с ним средствами.

Затем он умолк, и я встретился с его глазами, помраченными новым недобрим чувством. Только позже, после иной с ним встречи, в иной совсем обстановке, я понял, какое чувство тогда, вслед за смехом, овладело адъютантом генерала Саханова. Ревность! Но не к женщине, которую он должен был в те минуты ненавидеть не меньше, чем меня. Ревность к тому, что он подглядел во мне, ко всему миру моих чувств и убеждений, ненавистному миру, утерянному им безвозвратно.

Ведь не всегда же Тышко-Судковский был тем, чем был теперь. Он был когда-то ребенком, и его мать согревала его теплом своих надежд. Он бегал в гимназию и мечтал со своими сверстниками поколебать звезды, расплавить ледяные пустоты Северного полюса, объездить весь свет. Потом началась торговля — в розницу и оптом — мечтами, убеждениями. Разоренное родительское имение, вечные удары по самолюбию, мелкая, въедчивая зависть к счастливым карьерам, и метание из стороны в сторону, и сделки на каждом шагу с податливой совестью. Жизнь была разменена по грошам, испакошена.

Некоторое время адъютант угрюмо присматривался ко мне, затем он запустил в ящик стола руку и протянул мне квадратный картон.

— Вот.. не угодно ли?

Это был отлично воспроизведенный фотографический снимок. Вглянувшись на него, я узнал Анну.

Она шла где-то, аллеей сада, услышала чужой голос, вскинула голову... На исхудавшем, резко осунувшемся лице ее, под холодком неприступности, сквозила тревога.

— Ну-с... — выронил, не спуская с меня глаз, человек во френче. — Надеюсь, вы убедились теперь, что...

Он не закончил. Имея под рукою оружие, а за стеной людей, готовых колоть, стрелять, защищая его, он вдруг отшатнулся в своем кресле. В его глазах вспыхнуло дикое отвращение, как если бы, забавляясь гранатой, он недуманно привел в движение боевой ее механизм.

Переполох адъютанта помог мне овладеть собою... Держись, Никита! Ты еще годишься на что-нибудь, отказав себе в удовольствии раскроить череп генеральскому псу.

— Не знаю, не встречал, — проговорил я, кидая на стол, рядом с массивным пресс-папье, фотографический снимок. — Этой женщины я никогда не встречал.

— Не встречали?

— Нет.

— Хорошо, мы устроим вам очную ставку... — говорил он, извлекая из-под бумаг никелированный браунинг и принимаясь барабанить по нему пальцами. — Впрочем, улики против вас и без того достаточно... Что же касается этой особы, то, я полагаю, она, узнав о вашем мужественном... м-да... именно — мужественном отречении, сама не пожелает... видеть вас, иметь с вами дело...

Поняв, должно быть, что говорит он не так, как следовало, и не о том, что следовало, человек во френче продолжал крикливо:

— Нет, я не доставлю вам удовольствия видеть ее... Но она увидит вас... Да, мы постараемся устроить... барышне... романическое свидание с вами... У эшафота, под петлею... хе-хе...

Вдруг мне почудилось, что передо мною невменяемый, в хмелю, человек: пьянея, он забывается, бредит вслух, и тут впервые мне стало жутко. Это было жуткое чувство, как если бы я, встретившись с моим палачом, внезапно убедился, что он, палач мой, пьян, безумен и не отвечает за свою работу.

Смерть сама по себе противна сознанию

живого существа, но смерть от руки неумняемого, смерть в руках сумасшедшего... это уже нечто такое, что способно опустошить мужество любого.

И я весь напрягся, готовясь к защите: перемахнуть через стол, вцепиться в горло моего палача, запустить в него креслом. Он поймал, второй раз за время допроса, выражение неистовства на моем лице.

Привстав за столом, человек во френче ударил ладонью о ладонь, как бы аплодируя мне, и вслед, за спиною у себя, я услышал тяжелые марширующие шаги: то был мой конвоир и еще двое с винтовками.

Странно, но появление людей, не сулящих мне ничего доброго и в то же время понятных мне своею жестокою необходимостью, возвратило мне хладнокровие. Я понял: человек во френче был, как и в первые минуты нашей встречи, трезв безупречно. Он лишь желал поскорее разделаться со мною, и по тому, как мой конвоир ухватил меня за плечо, было видно, что он без слов угадывал желание своего господина.

Вперив в меня невидящий взгляд, человек за столом готовился произнести что-то, что касалось меня и о чем наперед знал мой конвоир. Но в следующую минуту на столе протяжно запел телефонный рожок, человек подхватил трубку, поднес к уху.

— Да, я... — заговорил он, переводя глаза с меня на кипу бумаг. — Застава? Слушаю, поручик... Как вы сказали? Капитан Клячко? С людьми?!. Немедля передайте капитану: он должен быть сейчас же у его превосходи-

тельства, в штабе, лично... Прискорбное событие?.. Прошу не вдаваться в подробности... Что такое?!

Он кинул трубку на место и некоторое время стоял, вовсе позабыв о людях по ту сторону стола. Опомнившись, присел на ручку кресла и снова обратил взор свой в мою сторону. Все в нем как бы вдруг померкло, чисто выбритый подбородок безвольно отвис, пушистые усы шевелились, словно адъютант что-то прожевывал.

Глухо он произнес одно слово:

— Уведите!

Но, когда, следуя жесту своего конвоира, я повернул к двери, человек из-за стола еще раз окликнул меня, и я не узнал его голоса, — таким тусклым был голос, а вместе с тем ворчливым.

— Мы еще поговорим, господин Панфилов...

Последнюю фразу его я едва расслышал, так как был уже за порогом.

Убедившись в своей власти над собою, мы как бы смыкаемся с миром человеческой власти над окружающим, над самою вечностью. Меня могут уничтожить, подстрелить, раздавить, но дело моих рук, моя воля непреоборимы! Это — сознание выполненного долга перед будущим.

Автомобиль снова тащил меня куда-то, и рядом, держа в руке оружие, сидел все тот же, равнодушный ко мне, конвоир. Не без основания я полагал, что сейчас меня доставят куда-нибудь за город, ближе к свалочным ямам, и там покончат со мною... Неожиданно

наша машина остановилась у ворот тюрьмы. Так, значит, еще не конец?

Нет, конца пока что не было. Меня провели тюремным двором, коридорами, лестницами — с этажа на этаж, и опять я в своей камере. По тому, как встретил меня Владислав, я понял, что для него возвращение мое — возвращение с того света. Уложив меня, Владислав присел в ногах и долго, без слов, гладил дрожащей рукою мою руку. Потом он, как добрый дядька, стащил с моих ног опорки. Не удовлетворившись этим, он бросился к столу, где у него лежал кусок овсяного хлеба — дневная порция, к которой Владислав не прикоснулся без меня. Разодрав кусок на две части, он больший кусок протянул мне и не спускал с меня глаз, пока я утолял свой голод.

— Кушай, камрад, кушай... Они сегодня могли скушать тебя.

Он был в такой степени полон мною, моей жизнью, что как бы растворился во мне и, незаметно для себя, вторил жестам моих рук, дышал в такт со мною. И я невольно перенесся памятью в прошлое, к сибирской ссылке, к нашему бегству, к тому, как, настигнутые в пути голодом, лежали мы в заброшенной таежной избенке, и этот мадьяр с коврижкой хлеба в руках хлопотал вокруг нас. Так же вот склонялся он тогда над моим изголодьем и тем же милым, гортанным голосом напевал: «Кушай, камрад, кушай!»

Я привлек к себе Владислава и вполголоса, как если бы кто-то мог слышать нас, рассказал об учиненном мне допросе.

— Враг выследил Анну! — закончил я жалобой.

Не соглашаясь со мною, Владислав pokrутил головою:

— О, нет-нет, камрад! Они еще не имеют Анны... Анна еще не у них!

Как мне хотелось тогда верить ему, и это не было моей слабостью; я готов был ко всему, но... мысль о гибели Анны извергалась моим сознанием как нечто нестерпимое, противоестественное.

— А фотография? — восклицал я с новою вспышкой страха. — Адъютант показал мне фотографический снимок Анны!

Но и этот довод не поколебал уверенности Владислава. Он еще решительней дернул головою.

— Глупый, глупый ты, камрад, а еще... очки носил! Мало ли в каком месте они могли раздоставать фотографию... Обыск у любой приятель, вот тебе и фотография!

Несомненно, Владислав был прав: фотографию штаб мог добыть у любого товарища при обыске, в семье, например, того же ставара Зотова... Нет, Владислав прав! Какие-то сведения об Анне контрразведка имела, но... пока что Анна вне их власти. Иначе к чему бы и весь этот невнятный разговор со мною? Владислав прав: враг только еще нащупывал, подманивал, толкал меня в свои тенета, пытался захватить врасплох... Да, ясно: адъютанта интересовал я, адъютант тянулся своими лапами ко мне! Но менее всего это утрашало меня. Была бы свободна

Анна, а о себе я позабочусь сам. И, в конце концов, двум смертям не бывать, а одной...

— Верна, верна, камрад! — соглашался со мною Владислав. — Один раз родился, один раз помер...

И, вскинув голову, он негромко, но удало, по-боевому затянул:

Геть скуку, пусть скучает лошадь..

## VII

Минуло еще несколько дней. Тюремщики, казалось, вовсе позабыли о нас, но нам-то о них забыть было невозможно. Главное, что начинало томить меня, это — бездействие. Бездействие, навязанное в разгар борьбы, способно извести вас раньше того, как враг расправится с вами. Я имел достаточно оснований ожидать, что паспорт на имя Панфилова не убережет меня, что в любой час Никиту Глотова могут раскрыть и... уже раскрывают понемногу, уже подбираются к нему. Однако не страх за жизнь, а чувство возмущения перед обреченностью трепало меня. Возмущение и, пожалуй, еще стыд... Стыд за себя, за неожиданный провал работы. Быть выведенным из строя сыщиками генерала Саханова — это похуже даже, чем угодить под шальную пулю, свалиться от яда вползшей к вам за ворот тифозной вши.

Помнится, попав впервые в царскую тюрьму, я переживал свое заточение празднично, с гордостью за себя. Был тогда я совсем юнцом, но ведь и теперь мне, чорг его знает, не то двадцать четыре, не то двадцать пять,



не больше, а я вот как бы утратил молодость и склонялся к черной хандре.

Трезво рассуждая, мы не допустили ничего, что давало бы мне повод заниматься самобичеванием. Известно — имеешь дело с огнем, так не удивляйся, если обожжешься. Мы делали свое, враги — свое, и нас постигла неудача. Кто же виноват здесь? И все же острое беспокойство томило меня. Я стал неразговорчивым и мог часами лежать на своем топчане, не шевелясь, вперив глаза в каменные своды камеры. Я размышлял. Даже не размышлял, а перебирал в памяти пережитое, все время возвращаясь к Анне... Этакая несуразная история — наша любовь: завязалась еще до ссылки, в ссылке окрепла, но до последнего часа мы не знали счастья. И только теперь, оглядываясь на пережитое, я начинал прозревать, как много в моих отношениях с Анною было мальчишества, дичи, неразберихи.

«Как могло случиться, — думал я, — что мы, люди жизнерадостной и трезвой среды, не сумели преодолеть в себе странных, подчас явно выдуманных отталкиваний и не овладели своим счастьем? Как могло случиться, что она, Анна, всегда рассудительная и последовательная в своих поступках, предоставила меня самому себе и, будто нарочно, делала всё возможное, чтобы пробудить во мне недоверие к ее чувству, затронуть тайники моего самолюбия, причинить мне боль? Или это всё служило ей средством для испытания моего к ней чувства? Или, действительно, я внушал ей тревогу, казался ненадежным другом?»

Пытаясь разрешить это все, я мало чего достигал и тут же давал себе слово распутать «узел» при первой встрече с Анною. «Ну, да, — решал я. — Если нам удастся спастись, первый мой шаг на воле будет принадлежать тебе, Анна. «Довольно, — скажу я, — довольно играть в прятки! Видишь — я без тебя не могу».

Ища облегчения, опоры в своем раздумье, я призывал на помощь Владислава.

— Слушай, мещанин Грекулов, — окликал я его, — ты понимаешь что-нибудь... ну, скажем, в любви?

Тюремное наше положение было вовсе не таким, чтобы заниматься отвлеченными разговорами. Но Владислава мой вопрос не смутил. Ведь там, в работе, я не отягчал его внимания интересами сугубо мирного времени. Сейчас же Никита Глотов получил, так сказать, отпуск и мог позволить себе любой разговор.

— Ага, ага, камрад! — кивал мне в ответ Владислав. — Вот это — раз, вот это — два... О, моя много любил!

Перебравшись на топчан ко мне, он продолжал с тем же оживлением:

— Такой место есть в Карпатах — Дебрецины... Шибко хорош место! И там жинка мой, мой тестя, еще... маленький малец Ласло... Разумеешь? — подмигивал он мне и улыбался одной из тех белоснежных своих улыбок, от которых в камере становилось светлее.

Он ожидал моего отклика, поглаживая суставом указательного пальца предательски отрастающий ус, но я потерял вдруг охоту

продолжать начатый разговор. И без обиды, все с тем же желанием отвлечь меня от тяжкого раздумья, Владислав принимался за другую тему.

Слыша не раз мои жалобы на то, что при аресте я вынужден был уничтожить черновик замечательного, построенного на фактах воззвания к казакам, он обращался ко мне с предложением... восстановить текст листовки, написать всё по памяти. Я отмахивался, объясняя эту его затею желанием занять меня. Но он настаивал и, наконец, сообщил однажды:

— Твоя писал, моя давал на волю... Разумеешь?

В доказательство серьезности своих слов он извлек из подушки, набитой соломенной трухой, огрызок карандаша, листки курительной бумаги. Я не стал допытываться, какими путями мадьяру удалось добыть такое богатство, и немедленно принялся за листовку.

Усадив меня за работу, Владислав в свою очередь не тратил время впустую. Что только не делал он, к чему только не прибегал, чтобы заманить в свои сети... тюремщиков!

Тюрьма наша находилась под охраною старых надзирателей и военного караула, причем между военными и штатскими был глубокий разлад. В положении угнетенных оказывались профессионалы-тюремщики. Разогнанные с «постов» при советской власти и вновь затем призванные генералом Сахановым, они в скрытой борьбе своей с «господами портупейцами» забывали порою даже обиду на большевиков. Во всяком случае, они

не склонны были питать чувство благодарности к новым хозяевам. Правда, старым тюремщикам вернули их насущный кусок хлеба, но... какую горечью, а подчас и кровью сдобрен был этот кусок! В конечном счете наши надзиратели, если верить им, жили не лучше арестантов — под вечною угрозой расправы за малейшую провинность. Еще за день до нашего здесь появления, в том самом коридоре, куда выходила дверь нашей камеры, казначий есаул, дежуривший в наряде при тюрьме, пустил пулю в седобородого тюремного служаку, по прозвищу Сыч, и только за то будто бы, что он, Сыч, не оказался в положенную минуту на месте, а потом вступил с есаулом в пререкания.

Как бы ни было, Владислав сыскал среди старых тюремных хозяев кое-кого, кто не прочь был вступить в сделку с арестантом, по крайней мере, в такую сделку, при которой, как говорится, и овцы оказываются целыми и волки сытыми.

Многое из ухищрений мадьяра, величавшего себя перед надзирателями греком из торговых мещан Херсона, осталось для меня секретом. Но я знал доподлинно, что одному многосемейному надзирателю, родитель которого тоже когда-то приторговывал по реке Ингулу, токарь из Дебрецин наделал с помощью ножа и столярного клея множество затейливых игрушек, и наш тюремщик, распродав товар, почувствовал себя обязанным мирволить «греку».

Другому нашему охраннику Владислав поднес золото. Ну да, чистопробное золото, вы-

дранное им из собственной челюсти вместе с зубом.

«Геть скуку! Пусть скучает...»

В самом деле, на что нужен один какой-то зуб, да еще расшатанный побоями при аресте, если и тем всем, что оставались у Владислава, нечего было делать: кормили нас кое-как и не всегда. Между тем превосходная карпатская коронка что-то весила, во всяком случае достаточно, чтобы перетянуть на весах человеческой совести не слишком тяжеловесное у тюремщика сознание долга.

При содействии купленных такими ухищрениями надзирателей Владислав смог передать нашим на волю текст листовки. Нацарапав ее в форме письма к брату, я был уверен, что метрраппаж Орест без труда разгадает назначение моего послания и всюду, где у меня стояло обращение к «брату», поставит свое: «братья казаки». Через тех же тюремных служаек Владиславу удавалось от поры до поры добывать сведения о тюремном населении. Правда, были эти сведения очень глухи и сбивчивы, тем не менее мы установили, что пополнилась тюрьма преимущественно людьми с завода, отчасти из железнодорожного депо и с паровых мельниц. Среди заводских попали в тюрьму, между прочим, двое инженеров, но кто точно — мы так и не узнали. Напрасно искали мы средств, чтобы связаться с близкими нам, захваченными до нас, товарищами. Впрочем, и тут Владислав кое-чего добился. Однажды вместе с пищею надзиратель занес нам соломенный мат, обыкновенный постельный мат, а в нем, между жгутами, без

труда мы обнаружили писульку. Это были набросанные карандашом строки из сплошных цифр: шифровка! Стояла в писулке подпись: «Отец».

Отец, отец! Так порою мы величали старого сталевара Фому Артемыча Зотова. Значит, послание было от него, и я принялся строить догадки относительно ключа к шифру. И открыл его: Амоф... Фома — если читать наоборот. Цифры заговорили!

В сущности, нового, о чем мы не догадывались бы, в записке не было: все вокруг разгромлено, подавлено, иные из участников подполья арестованы, иные бежали... Единственно, что взволновало и приободрило нас, было сообщение о Дементьеве: он и еще пятеро с ним подались к деревням, к красным повстанцам. Замечательно! Дементьев не раз говорил мне о Подлужье, о мужичьих бунтах по деревням, о партизанских лесных отрядах... Но кто из товарищей выбрался из Шугаевска вместе с Кронидом? Не бежала ли с «пятеркою» также и Анна?

В тот же день я набросал ответ сталевару, и первое, о чем мы запросили старика, было: где Анна, что с нею?

Надзиратель утащил в хлебном мякише нашу записку, но ответа от «Амофа» я так и не дождался.

Неожиданно меня разлучили с Владиславом.

## VIII

Одиночество! Сердце мое маршировало, как солдат в походе, но я не смог бы теперь

даже крикнуть соседу: «берегись», потому что весь мир отгородили от меня камнем. Я не знал ничего и о своем камраде: живет ли еще мещанин Грекулов или, раскрытый контрразведкою, сложил, вслед за другими, голову?

Пытка одиночества! Что перед нею побои, голод, палящая внутренности жажда? Я слышал поступь приближающейся бури и мог только метаться в своем каменном подвале.

Этот человек из штаба вызвал меня второй раз на допрос. Он знал, гнус, что делал! Он не был похож ни на жандарма, ни на обычного золотопогонника, но превосходил их своею наглостью, могильным своим равнодушием к окружающим. Он старался внушить мне, что получил надлежащее воспитание, слушал университетские лекции и кое-что запомнил из своего знакомства с передовыми умами. Повидимому, он предполагал у меня способность оценить все это и при случае засвидетельствовать (кому же, собственно?), что в штабе встречаются люди особенные, незаурядные. И действительно, присматриваясь к человеку во френче, вслушиваясь в хрипловатый его клекот, я проникался убеждением, что среди окружающих двуногих он был приметным явлением, — не потому, что превосходил всех остальных количеством своих преступлений, а потому, что искренне считал преступною бессмысленностью все без исключения нормы поведения, которые не были направлены к удовлетворению потребительских запросов человека.

И вот этот господин, мало рассчитывая,

надо полагать, на успех обычных угроз, пожелал еще раз видеть меня.

Пробыл я у него не более четверти часа. Человек во френче держал себя рассеянно, моментами он как бы вовсе забывал о моем присутствии. Было видно, что, при всем загадочном для меня интересе ко мне, он не в состоянии был справиться с тяготившей его озабоченностью. То и дело он откликался на телефонные гудки, правая, затемненная по всему овалу, щека его легонько, как в тике, подергивалась, он шумно отпивал из стакана и брезгливо обсасывал взмокшую кайму белесых, тщательно уложенных усов.

Ставя себе целью озадачить меня, человек во френче с первого же слова, в тоне отвратительной интимности, осведомил меня о некоторых, несомненно, выдуманных им, вылазках красного подполья, намекнул затем, не выдумывая уже, о росте деревенских бунтов и вдруг опять, как в первую нашу встречу, заговорил о «женщине, судьба которой должна интересовать... господина Панфилоза». Он не назвал в этот раз даже ее имени, но наговорил столько об этой, неизвестной, что я заколебался: уж не под одну ли со мной тюремной кровлей Анна?

Я упорно молчал, мое молчание вызывало у человека по ту сторону стола явное отвращение. И, как бы мстя мне, он холодно, деловито предложил мне... освободить меня, на известных, конечно, условиях. Врагов у добровольческой армии много, один лишний на свободе не столь страшен. Итак, если личные привязанности не ценились мною, если мол-



чание мое означало равнодушие к близким людям, то, чорт возьми! — он, смертный среди смертных, готов пойти мне навстречу: некоторые подробности о женщине, которой все равно терять нечего, и я свободен. Меня вывезут ночью за город, я буду волен располагать собою, вернуть себе возможность бороться в рядах единомышленников, словом, быть, чем угодно.

— Так как же, господин Панфилов? — поднял он на меня глаза.

Эти ли глаза его, как бы наполненные пеплом давно перегоревших желаний, или самый тон его вопроса (словно он предлагал ходячую, само собою разумеющуюся сделку) заставили меня, помимо воли, возмутиться. Он это заметил и, не повторив своего вопроса, медленно отвел от меня взгляд, как от стены без окон и входа. Кажется, он понимал, что напрасно терял со мною время... Да и так ли уж интересовала его возможность моего падения? Не была ли моя стойкость, опрятность моих понятий так же скучны, унылы ему, как и его собственное отрицание всякого рода долговых обязательств перед человечеством?

Лишь призывая пронзительным звонком моих конвоиров, он кинул мне на прощанье что-то об ограниченности тех, для кого страсть отвлеченной веры — более реальная сила, чем страсть молодой крови, и на один момент сквозь мутную пелену в его глазах блеснул огонек.

Еще прошло двое суток, тюремщики в моем коридоре сменились. Время от времени через «волчок» двери ко мне в камеру прони-

кали смутные и оттого особенно жуткие вопли, брань и стоны. Надо было думать, что там, по коридору, чинили расправу с заключенными.

Как-то на заре меня разбудили необычные гулы за стенами. Чудилось, что сверху, из верхних этажей тюрьмы, сбрасывали во двор тяжелые листы железа. Стекла в оконце у каменного свода звякали. Я вскочил с топчана и принялся натягивать на себя оставленный мне при аресте пиджак. Почему-то у меня была уверенность, что сейчас за мною явятся, и я торопился привести себя в порядок. Я даже затянул потуже пояс. Чтобы прекратить непрошеную тряску внутри, в самой, казалось, крови моей, я проделал несколько решительных жестов руками и, не удовлетворившись этим, с силою, до боли, закусил губу. «Главное, не раскисать, Никита! — тоном команды, с угрозой, говорил я себе. — Главное, не раскисать...» Более всего опасался я мучительных осложнений в своем настроении: еще вздумаю петь себе отходную, упрекать судьбу за слишком скудные радости в прошлом. Дверь моей камеры раскрылась. Увидев на пороге вооруженных людей, я почувствовал, как вся кровь прилила у меня к сердцу. Нет, это не страх. Это — приступ острой жалости к милым, близким мне людям, для которых Никита Глотов что-то значил. Прежде всего тут была Анна: вся та огромная радость, какую несли и не донесли мы друг другу.

— Этот! — проговорил подле меня сиповатый, бесконечно равнодушный голос, и я раз-

глядел в сумраке усатую голову под широкодонной, решетом, фуражкой. — Панфилов?

— Да.

Кто-то в серой шинели, с перекрещенными на груди ремнями, махнул рукою, повернулся от меня, пошагал к двери. Низкорослый солдат, подвинувшись, брякнул винтовкою, заглянул мне снизу вверх в лицо, толкнул меня под локоть:

— Идем!

В коридоре чадили подвесные лампы, и я заметил, что две, три двери из камер стояли раскрытыми. Должно быть, кое-кого из арестантов вывели еще до меня. Но с уборкой пустых одиночек тюремщики не спешили.

Я шел медленнее, чем это нужно было моим конвоирам. Человек в серой шинели оглянулся, что-то сказал, солдат опять толкнул меня:

— Шагай, шагай!

Тюремный двор был пуст, гулко выстукивали солдатские шаги по плитам, хлопала где-то у соседнего корпуса калитка, и то, что слух мой впервые уловил в каменной одиночке, здесь, под открытым небом, грохотало вольно и грозно.

Прислушиваясь, я остановился, человек в серой шинели подлетел ко мне и молча замахнулся, глаза у человека полузакрылись, он ощерился.

— Сейчас! — стараясь оставаться спокойным, произнес я. — Кажется, палят из орудий, господин поручик?

Тот, кого я повеличал поручиком, в самом деле был в каком-нибудь младшем офицерском чине. На это указывало его обмундиро-

вание из грубого солдатского сукна. Он был, верно, лет на пять моложе меня и притом ростом не выше своего тощегрудого солдата. В сравнении с ними обоими я чувствовал себя правофланговым в строю. Но они оба вооружены, и я видел, что, замахнувшись на меня, поручик ухватился за кобуру.

Я не получил на свой вопрос ответа, поручик закричал солдату:

— А ну... шевелись!

То был призыв к действию. Не ожидая, что мог предпринять в отношении меня солдат, я тронулся вперед. Теперь они едва поспевали за мною, и вот, быстрым маршем, мы, все трое, вышли за ворота тюрьмы.

Вдали, по дороге к городу, окутанному туманами, шли люди, ползла среди них повозка, в белесом рассвете поблескивали стволы вскинутых на плечи винтовок.

Поручик задержался, раскуривая папиросу. Это ему не удавалось — мешал ветер, он ворчал, и наконец на помощь ему пришел солдат с горящею в пригоршне спичкою. Тем временем повозка спустилась в лощину.

Я весь отдался движению. После томительного сиденья в прокисшем гнилом воздухе одиночки было с чего опьянеть здесь, в открытом поле! Итти бы так, без конца, без времени, и чтобы дул в лицо тугой ветер, чтобы поскрипывал под стопой слежавшийся, мокрый от росы песок, а над головою текло бы предутреннее, дикое небо. Я совсем не ожидал, что напоследок мне доведется испытать такое наслаждение, почти счастье: глотать досыта густой, пахучий воздух, видеть

над собою небо! Погожее, потное в сыром дыхании утра, оно было того неопределенного тона, какой всегда напоминал мне смутную окраску только что проглянувших детских глаз.

Я шагал, не глядя на своих конвоиров. В груди у меня было так много места, что, чудилось, она могла бы вобрать в себя весь этот утренний воздушный простор.. И я не хотел думать о смерти, поджидать ее, забежать ей услужливо, как нищий за подаянием, навстречу. В конце концов все живое в этом мире обречено смерти, и разве временем измеряется чувство жизни? Пусть я располагаю только минутами, дело в том, как провести их, чем наполнить. Каждый мой шаг значителен сегодня, как год, и — сколько шагов впереди у меня, столько и годов. К тому же живу я, как никогда раньше, налегке, без ноши будущего, без страха, что опоздаю. Мы вечно спешим, вечно в тревоге, но эта неутолимая жажда быть всюду, наполнять собою всю вселенную — безнадежна, потому что вселенная всегда оказывается больше нас.

Что-то еще тревожит меня, сжимает мне сердце. А, понимаю! Я хотел бы видеть заводские трубы, слободской пригорок. Будь проклято рабье наше прошлое, но ведь в нем, этом сумеречном отдалении, в этой печальной тени прожитых лет — наше детство, радость впервые пробужденной мысли, первые грозы зрячего сердца!

Далеко ли еще идти мне? Не к тем ли овражкам ведут меня, не свернем ли к реке мы? Это ведь совсем близко, и я мог бы за-

глядеть оттуда на мост, на трубы, на речной обрыв, на песчаную отмель, куда когда-то, очень давно, еще только-только начиная за станком у Фокина, мы, ребята, бегали купаться.

Опять под небом гроыхнуло и отдалось через все поле раскатами. Круто оборвав шаг, я чуть не сталкиваюсь с поручиком. Он отступает, в светлых, мальчишески округленных глазах его вспыхивает страх, и вот вижу, как он прячет глаза, как пытается воровски увернуться от меня. Ага, понимаю! Через каких-нибудь десяток минут этот человек намеревался ведь лишить меня жизни. Застигнутый, он суетится, увертывается от меня.

— Далеко ли еще? — спрашиваю громко и, хотя знаю, что ответа не получу, повторяю свой вопрос: мне доставляет удовольствие слушать свой голос, узнавать себя в нем.

Поручику не по себе, на озябших, в пупырышках, щеках его пятнами проступает румянец, он тянется глазами к солдату, и тот орет на меня:

— Марш, марш!

Маршировать — так маршировать... Я надаю, и те, двое, бегут за мною. Огибаем овражки, выходим к пустотам, к заборам в тылу усадеб. Я осматриваюсь и — узнаю окраину Проломов. Направо, в полуверсте от нас, у самых развалин салотопни, вереницей тянутся люди, среди них — повозка. По тому, что сопровождают повозку солдаты с винтовками, догадываюсь: тюремные! Мы поворачиваем в ту сторону, идем вдоль заборов, стараемся нагнать повозку, но расстояние между

нами не убывает, а раскаты под небом становятся внушительней. Вскидывая голову, я ловлю в солнечно осветленных высотах дымки: плывут, колышутся, принимают очертания пауков с вытянутыми лапами... И вдруг, прямо над забором, в темных голых ветвях что-то с треском взрывается, по сторонам летят брызгами куски расщепленной коры, вспархивает, уносится ввысь воробьиная стайка.

Как бы споткнувшись, поручик приседает на месте, солдат шарахается в сторону, сбрасывает винтовку — прикладом к ногам. На чахлом курносом лице солдата смятение, круглая бескозырка сползает у него набок, к уху. Я остаюсь в стороне. «Беги!» — беззвучно кричу я себе, оглядываюсь и ловлю чужие, устремленные на меня глаза. Поручик разгадал меня. Выпрямляясь, он торопливо ощупывает кобуру у пояса. Но я не шевелюсь и позволяю снова взять себя под конвой.

Удивительная легкость охватывает меня. Как это раньше не подумал я, что могу бежать?.. Ну да, бежать! А там будь что будет. Во всяком случае, смерть на лету, в борьбе, куда легче, чем... Я не закончил мысли, поймав настороженный взгляд поручика: он продолжал подслушивать у чужой двери... Внезапно у меня вскипает ненависть к этому человеку с рыхлыми щечками, в зябких пупырышках. Следит, сволочь, за каждым моим шагом, висит надо мною, как влюбленный ревнивец, как стервятник, дрожащий над своей жертвой! Я опускаю глаза и с наслаждением, ощутимо представляю себе: отчаян-

ный взмах кулака, удар в лицо, ответный вопль господина поручика. Кто он? Маменькин сынок, наследник разорившихся, но славных своим прошлым родителей, или просто выкормок какого-нибудь шугаевского регистратора из губернского присутствия? Не доедая, не допивая, воспитал папаша свое чадо в кадетском училище, и вот он, хлюст, шагает за безоружным противником, вынюхивает место, где бы ничто не помешало ему влепить пулю в живую мишень!

Мы миновали забор. Глубокая, заросшая бурьянами, тянется канава. Торчат там и сям полусгнившие кривые столбы. А за канавою, а за столбами — покинутый, забытый сад. Ветер гуляет в темной мокрой чаще. Стрекошет пронзительно где-то сорока. На один момент задержав шаг, я взрываю каблуком опорка зыбкую почву, нагибаюсь, черпаю горстью сухой песок и, выпрямившись, с силою кидаю песок в лицо поручика, в эти его округленные, шалые, щенячьи глаза... Немедля оборачиваюсь к солдату. Тот прямо глядит на меня, и в тусклой пасмури его лица все замерло, как если бы солдат уснул стоя. Странно, он даже не вскрикнул, не пошевелился, ожидая моего удара. Но я сдержал себя, я понял, что те несколько секунд, какие понадобились бы мне, чтобы нанести удар, были лишней задержкой, а быть может, и моим проигрышем. Что-то, из самой глубины моего сознания, подсказало мне, что этот не опасен мне.

Перемахнув через канаву, бегу. Бегу полисья, зигзагами, и не слышу ни шума своих



прыжков среди заросли, ни шума ветра в вершинах берез. Выстрел, который ударил позади меня, воспринимается мной, как близкий, но беззвучный выхлест прутьев где-то за самой спиной у меня. Оглядываюсь, вижу вдали, среди заросли, голову, винтовку, вздернутую в мою сторону, дымящуюся. Поручика не было видно.

Горстка песка, кинутая в глаза поручика, это — прием, знакомый издавна заводским людям: так именно действовали они в тысяча девятьсот пятом году и в более поздние годы, когда надо было «проучить» какого-нибудь зарвавшегося хозяйского холуя. Но у меня в тылу — двое вооруженных, и если не страх перед воинским начальством, то стыд перед своею оплошностью должен толкать поручика в погоню за мною. Правда, над городом гремят пушки, в городе переполох, и разве не так уж поручику дорога голова его?

Я врываюсь в кусты сухого малинника, под защиту бревенчатого амбара, и останавливаюсь, чтобы отдышаться. Однако мои глаза продолжают сновать вокруг. Подмечаю каждую рытвину, каждый буторок между кустами, заглядываю через редкие заросли на ту сторону усадьбы. Треск сломленного ветром сучка встряхивает меня, как удар в лицо, и я бегу снова. Перебираюсь через усадьбу на улицу. Пробую попутные калитки: они встречают меня, подобно неверным друзьям в беде — засов на засове, замки и опять засовы. Где-то по улице цокает железо о булыжник. На той стороне, в окне второго

этажа, шевелится кружевная занавеска. Изпод ворот с лаем высовывается синяя морда. Втянув в плечи голову, я продолжаю перебежку от дома к дому и, наконец, вижу раскрытую калитку под каменной аркою. Камень, сумеречье, покой... Смешанный запах мочи и пыли встречает меня как благоухание, запах этот звучит во мне музыкой. Я хмыкаю про себя от счастья, наткнувшись рукою на что-то острое. Боль — это голос жизни. Никогда, пока живем, не одолеем мы ощущения боли, но радоваться ей, острой, саднящей песенке тела, умеют лишь немногие, в редчайшие минуты опознанной полноты жизни.

Я пробегаю двор, затем сад, унылый, закиданный ржавой листвою, и снова натываюсь на ворота. Они ведут во тьму, настоенную горьковатым ароматом сена. С проворством, небывалым у меня, лезу по зыбкой лесенке вверх, падаю, проваливаюсь в вороха тучной, бархатной среди мрака, травы.

Некоторое время лежу без движения, наслаждаясь чувством недосыгаемости. Сердце мое ровнее и мягче бьется о ребра. Ко мне возвращается вера в себя, теперь мне кажется невозможным, чтобы кто-то, враждебный, смог вспугнуть, потревожить меня. И я уже представляю себе свое появление среди друзей, вижу Анну, то, как, бледнея, она бросится ко мне: «Ты жив, ты со мною, Никита?»

Перенесенные испытания не защищают меня от желания бежать мыслями вперед: так сильно мое желание насладиться победою, взглянуть на себя со стороны, глазами Кро-

нида Дементьева, старика Зотова, Анны...  
Анны — прежде всего!

Какой-нибудь час назад я пережил ожидание смерти, заглянул в самое лицо ей, и вот — все это отброшено, все это где-то позади. На смену стучится иное, захватывающее.

Я приподымаю голову, откидываю охапки сухой травы, вслушиваюсь... События этого дня неведомы мне, я могу лишь догадываться о них, но одно ясно сейчас: не хочу, не могу оставаться под безопасным кровом.

— Ты должен, Никита! — говорю я себе вслух. — Тебе нельзя иначе.

Осторожно подползаю к стене, нащупываю лестницу, овладеваю ею.

Улица, припертые наглухо ворота, мертвая пустота вокруг. Но есть и новое: отдаленные ружейные залпы. Я напрягаю силы, уверенный, что если сдам, если мужество покинет меня сейчас, мне уже не овладеть собою. И я бегу. Куда? К заводу, в слободу, ближе к своим!

Мне душно, я разрываю ворот на груди. Еще немного — сознание покинет меня. «Тише, Никита, тише», — говорю я себе и продолжаю бежать.

Где-то впереди отчетливо стучат конские копыта, рывком сворачиваю в переулок, взбираюсь по крутому, заваленному мусором подъему и тут падаю, валюсь в бурьян.

Способность вновь видеть и слышать возвращается ко мне, я чувствую себя даже сильнее, чем раньше. Вдали, через реку, на пригорке, туманно, неясно, как в минуту

пробуждения, начинает оформляться перед моими глазами что-то до щемящей тоски в сердце знакомое: какие-то кубические тяжести, квадраты переплетов между ними, жерла из камня, нацеленные в солнечную высь. Завод, мой завод, наш завод!

Вижу: над кровлей листопрокатки, сотрясаясь, вспыхивают белесые султаны пара, — завод орал, голосил, бил тревогу.

Восторг обжег меня, я вскакиваю на ноги и, не помня себя, лечу с обрыва вниз, к реке, к отмели.

Только мертвые не слышали в этот час голоса завода, не спешили на зов его.

## IX

На отмели, почти у самой воды, я прихожу в себя. Неподалеку от меня, у каменного выступа, кучка людей в солдатских шинелях тащит на подъем, к зарослям, орудие, а рядом, путаясь в постромках, вытаптывают звериную свою пляску тяжеловозы-кони.

Я приникаю к земле и ползком, работая во всю силу своих мускулов, направляюсь к кустам лозняка. В глаза мне бросается громоздкая, опрокинутая бортами вниз плоскодонка — одна из тех, на каких лодочники перевозят народ из города. Я подбираюсь к ладье и обеими руками принимаюсь рыть под ее бортом лаз для себя. Это вскоре мне удастся, я проникаю под днище, заваливаю выемку песком, и вслед за тем ко мне доносится протяжный человеческий вой, вероят-

но — голос команды. Оглушительный гул сотрясает почву, в лицо мне сверху, из пазов лады, сыплется трухлявая пороша. И — тишина: где-то далеко, будто из-под земли, поет заводской гудок, а еще дальше, должно быть, за мостом, возникают шумы, напоминающие треск разрываемого полотна. Но и это глохнет. Теперь слышу свое сердце: молотит о грудную клетку, звоном отдает в ушах... Опять густой, мощный взрыв, кажется — совсем рядом, и опять сыплется сверху труха, и опять на минуту плотная, литая тишина. И вдруг голосистый крик где-то наверху: «Переле-е-ет...» Хлесткий шорох прутьев лозины под ногами бегущего, мирное, совсем домашнее ржанье коня, ровный, бесконечно далекий гул с того берега.

Как бы только теперь я сознаю во всем жутком значении то, что происходит со мною и чего я не в силах был изменить: безысходность, обреченность. Стоит солдатам передвинуться ближе ко мне, натолкнуться, пробегая мимо, на эту укрывшую меня плоскодонку, и вот — я открыт. Мерзкое волнение овладевает мною, мне чудится, что кожа на моих руках, дыхание мое, самая плоть моей мысли покрываются сыпью. Кто-то угодливый, чужой и близкий мне шепчет мне на ухо: «Видишь, Никита, как ты измучен, у тебя вовсе нет сил, и будет непростительно, если в таком состоянии ты попытаешься обратиться из своего убежища».

Как, разве я собирался покинуть это гнездо? В самом деле у меня было это намерение?

«Геть скуку, пусть скучает лошадь...» — произношу я и начинаю думать о Владиславе, стараюсь представить себе, где он в эту минуту и что с ним? Может быть, его уже «раскрыли»? Может быть, его уже нет в живых, он уже не существует?.. И один ли он? А сталевар Зотов! А Марфуша Нечаева, а все другие... Анна! «Анна», — шепчу я и чувствую, что самообладание возвращается ко мне. Нетерпеливо подымаю голову, стискиваю зубы. Долго ли придется лежать здесь?

Как бы в ответ мне, что-то, совсем рядом, взрывается с такою силою, что я глохну и не слышу, а всеми своими нервами осязаю, как трещит, разваливается, осыпает меня гнилою крошкой дощатая ладья.

Открываю глаза: зияющая полоса по всему днищу, ослепительный солнечный блеск. Провожу рукою по лицу, мои пальцы в крови. Ожидание, что сейчас, сию секунду, чудовищный взрыв повторится, нестерпимо. Я лезу под борт, пропихиваю в щель голову, нажимаю изо всех сил плечом и, выметнувшись наружу, бегу прочь. Теперь я уже не думаю, что меня могут увидеть, открыть меня, послать в меня пулю.

Новый близкий взрыв. Небо раскалывается. Я оборачиваюсь и, как для защиты, вскидываю руки к лицу. У каменного отрога, над зарослями, куда минуту назад люди накатывали орудие, бушует в воздухе черный, в огне, вихрь.

Лезу по скату берега вверх, обрываюсь, сползаю и снова вверх, вверх.

С высоты обрыва передо мною весь проти-

воположный берег: песчаные дороги, трубы завода за глинистым, усаженным лозинами буераком, узорчатые снасти моста над заводью и там, дальше по реке, лиловые под солнцем каменоломни. В воздушном просторе снежно клубятся дымки, сизая пороховая завеса стелется у моста, по отмели. Над слободскими заборами, среди темных, по-осеннему костлявых деревьев — острые языки пламени. Небо тусклое, задымленное, а в нем разламываются молнии, как будто незримая рука великана чиркает спичкою по вскоробленной небесной глади. И все это — песчаные потоки дорог, трубы завода, нацеленные в солнце, ослепительные, мгновенно возникающие трещины в небе — полно гула, скрежета, тяжких, из самых недр земли, пофыркиваний.

Чувство грозного величия, неповторимости минуты захватывает меня. Вся моя жизнь, все, что наполняло ее с детских лет, — события, встречи, радости, страдания, — все оборачивается ко мне в новой вещи значимости. Так неожиданно волна выносит человека на поверхность, и на один момент взору его открываются явления, о которых раньше он едва ли даже подозревал... И я знаю: если люди, сегодня принимающие участие в том, что происходит вокруг меня, будут завтра расставлять и объяснять события по-своему, — не поверю! Менее всего принадлежали мы в это утро себе. А у кого было иначе, те никогда и не знали счастливой власти событий над собою, влачась за грозною тучей жалкими тенями.

От нетерпения меня всего трясет. Вот уж когда кстати были бы, как поется в песне, крылья человеку! А я не только не имел их, но и не был уверен, что в любую следующую минуту меня не схватят, не подстрелят. И тем не менее моя мысль настойчиво искала выхода.

Если перед тем, находясь в руках конвоя, я как бы смаковал, цедил сквозь сердце каждую минуту, то теперь время бежало, как вода между пальцами: попробуй-ка зачерпнуть, утолить жажду... А жажда такая: мозг горел, кровь пересыхала, и уже я не владел чувством пространства, в один и тот же момент находясь в самом пекле сражения, среди наших на заводе и в тюрьме.

Тюрьма — это десятки заключенных в ней товарищей! Что должны были, прислушиваясь к раскатам пушек, испытывать они, какую переносить муку? А могло быть того хуже... Могло быть, что они слышали уже поступь палачей у своих камер... Эта повозка с людьми, какую я видел, когда вели меня под оружием, — что представляла она собою? Не арестанты ли были там, не таскали ли их, как и меня, на растерзание взбешенным осадю офицерам? Во что бы то ни стало я должен выбраться к своим, на завод, на тот берег: только там, только оттуда я мог предпринять что-либо для тюрьмы... Но как попасть к своим?

Лодки! Где-то на берегу должны быть лодки... Ведь не на этой же дырявой ладье, из-под которой только что выжили меня огнем, переправлялись с берега на берег? Да,



там, на той вон отмели, лодочники... Сейчас лодки убраны, я не вижу ни одной. Кем, с какою целью укрыты лодки? Белыми, чтобы не воспользовались красные?.. Красными, чтобы белые не проникли к заводу, в тыл заводу?.. Но... если я и нашел бы лодки на своем месте, разве с берега не следили за рекою? Два, три выстрела с колена, с хорошей опоры, и — меня уложат.

Я продолжал подвигаться по гребню берега влево, в сторону от каменного выступа, ближе к Пескам. Я прыгал через канавы, перебирался глубокими расщелинами и с высоты заглядывал на отмели: только бы разобратся в обстановке, только бы определить, откуда грозит опасность, где мог бы я попытаться проскользнуть среди огня, перемахнуть на тот берег. Небо попрежнему гремело, мост вдали тонул в завесах дыма, но взрывы снарядов как будто переместились дальше за мост, к дровяным складам, к мельницам. А здесь, по отмелям, ни людей, ни лодок... Все же я решил спуститься к реке и уже сделал несколько ползущих шагов вниз по обрыву, когда из-за берегового поворота, слева, вывернулись всадники.

Это был огромный, вытянутый по отмели, поток вооруженных людей в седлах. Но... что за люди и — какое у них оружие! Рвань на плечах, овчинные шапчонки, кудлатые папахи и... лапти, лапти, шут возьми! А оружие... Я видел внизу, под собою, летящие обнаженные шашки, щетину пик, а среди них вскинутые над головами топоры, вилы. Придерживаемые у седел винтовки напомина-

ли дубины, с какими в деревнях выезжают в ночное подростки. Но подростков здесь не было, были бороды, вороха косм из-под шапок, и у того, кто скакал впереди конского косяка, человека богатырского сложения, развевались по ветру концы алого шарфа: человек как бы объят был пламенем.

Я узнал их. Я слышал о них достаточно в подполье. И ведь это я, Готов, в тысяча девятьсот семнадцатом году провел не одну неделю с ними под степным небом... Подлужье, набаты, пожарища и толпы вот этих людей на большаках, у поромов.

Я понял все. Завод, подполье отправляли в Подлужье десятками своих товарищей. Теперь они вернулись, ведя за собою степь, грозовые ее силы... Я понял все и не сбегал, а скатился с обрыва. Но где же, где было мне угнаться за степным ураганом! Опомнившись, я перевел дух и с бессознательной завистью вглядывался в то, что происходило в отдалении, у скалистого выступа берега.

На какое-то время, очень короткое, живая гуча — кони, люди — задержалась на месте. Затем, огибая отвесную скалу, тесня друг друга, всадники ринулись дальше.

Я собрал силы, на что-то еще надеясь, но когда между мною и последними рядами коней оставалось не более двух сотен шагов, все перед моими глазами исчезло. Ни коней, ни людей! Лишь бурые каменистые кручи над водою, да по воде шумы, как под дождевым ливнем: стремительный канский топот изда-лека.

Не теряя времени, бегу к воде, принимаюсь сбрасывать с себя тряпье. Более подходящей минуты и желать нельзя: белым не до того сейчас, чтобы охотиться за мною. Озираюсь по сторонам и вдруг за каменным уступом вижу лодки. Ну, да! Переправа была тут. Каменная скала, а главное, солдаты со своим оружием не позволяли мне до этой минуты заглянуть сюда.

Я спешу к лодкам, останавливаюсь у того места, куда недавно белые накатывали оружие: все вокруг здесь разворочено, оружие на боку, какие-то окровавленные куски в бурьянах, осколки лафета, скрюченные железные ободья... Мерещится, что в выемке, у оружия, шевелится обрубок человеческой ноги, а где-то в стороне всхлипывают, стонут...

Осматриваю лодки. У иных оторваны кормы, иные помяты так, будто по ним пронеслась каменная буря. Все же я нахожу что-то, похожее на корыто из цельного бревна. Выламываю от изувеченной плоскодонки доску — весло! — бегу к воде.

Уже выволочив с мелководья свою душегубку, я вспоминаю, что подле оружия были кони... Неужели снарядам сметены и они? И почему не догадался я поискать там, у скалы, оружие, какого-нибудь уцелевшего на мое счастье нагана, клинка, наконец? Досадуя на себя, я готов был повернуть назад, но... Вот тоже! А конница с пиками, с вилами, с топорами... Разве ей не нужно было оружие? Ясно: все кругом осмотрено, ошупано! «Ты опоздал, Никита», — говорю себе и с силою втыкаю тесинку в песчань. Ду-

шегубка моя осторожно выползает на глубину. Некоторое время мне надо держаться берега, подальше от городской набережной... Слышу явственно по воде отдаленный рев людских голосов, выстрелы, короткую очередь пулемета: пролепетал, захлебнулся.

...Я отступаю мысленно к недавним годам царского подполья, к таежной глухомани, к тем людям, чья неостывающая воля сбрасывала с ног цепи, вгрызалась в камень кагоржного централа, вступала в бой с пространством, с лютыми морозами, с голодом и самую страшную среди всех бедствий силою, какою еще вчера была рабская темень полей.

«Вчера — да! Но сегодня — это Подлужье, это — верхоконники с шашками, с вилами...»

Я поднимаюсь в своем корыте на ноги. Мне не сидится. Все во мне противится покою. Чувствую гибкость своего позвоночника, крепость своих мускулов. «Мало тебя, видно, ломали, Никита», — произношу я вслух и, настораживаясь, принимаюсь за самодельное весло. Душегубка моя летит стрелою.

## Х

После долгой мучительной разлуки я снова на обетованной земле, среди людей, связанных со мною узами, более крепкими, чем узы крови.

Торопливо иду вдоль заводского забора и еще издали слышу шумы, обоняю дымные запахи. «Живем, Никита, живем!» — беззвучно, нутром всем, кричу я и вступаю через раскрытые ворота во двор.

Двор полон: люди, кони, повозки, а за всем этим, как трава по весне над слободским булыжником, светится, исходит улыбками, манит материнским дружелюбием знакомое с ученических лет — штабеля посеребренных на изломах слитков, рельсы, вытянутые струнами у задымленных стен, солнечный прищур в стеклянных разливах кровель, кружевной локоть магнитного крана, труба-дымогарка, подпирающая небо.

Завод, как своего, без слов, без опроса, принимает меня. Нет, тут не уличное безразличие к человеку, тут прочное доверие товарищей — ко мне, рваной одежонке на моих плечах, отрастающим кудлам моим! Люди заняты своим, неотложным, более горячим, чем только что вывоченная из сварочной печи сталь, и я слушаю, всматриваюсь, упираюсь потоками жарких глаз, глотаю пригоршнями многогрудое возбуждение... Трудно держаться на месте! Чувствую неодолимую потребность снова по двору, среди народа, подобно псу в бору, спущенному с привязи... Но где же, где, однако, вожаки, подпольщики, кто-нибудь из стариков? Нетерпение мое растет вместе с тревогою, но это трезвая, деловая тревога. Она бодрит и освежает, она творит чудо: голодный, усталый, потрясенный, я забываю о себе, я сознаю только одно — свою готовность принять и разделить с людьми их заботы. Это — жадность застоявшейся мысли, зуд в руках, что-то от ревности безработного, вынужденного наблюдать со стороны осмысленную суету труда.

Я перехожу с места на место, спрашиваю у встречных о Крониде Дементьеве.

— На том берегу! — отвечают мне. — В городе!

— А Миронов? А Никифор Дергун?

— Там же, там они... Все там! Да ты что, — всматриваются в меня с удивлением, — с неба свалился?.. Занят городской берег!

Итак, пока я переправлялся через реку, выискивал безопасный путь слободским берегом, подвигался песками, пустошью, оврагами к заводу, Шугаевск перевернул одну из самых значительных страниц своей истории: власть белых пала, завод в руках рабочих, улицы города очищались от остатков генеральского гарнизона.

Да, я чувствовал себя свалившимся с неба, все в этот день было неожиданным для меня и, казалось, не имело ни начала, ни связи. А между тем никогда еще люди Шугаевска не переживали с такой предельною обусловленностью каждый свой шаг: были и связь между событиями, и начало их.

Вот что впоследствии мне удалось установить об этом дне.

Смяв высланный к разъезду заслон белых, захватив платформы с орудием и пулеметами, партизаны Подлужья, предводимые заводскими ребятами, ворвались на загородную станцию, заняли рошу у монастыря и открыли наступление на город.

Обстреливая из орудий берега Шугаевки, где гарнизон белых сосредоточил силы, партизаны дважды ходили в атаку на слободу и оба раза отступали под губительным флан-

говым огнем врага. Положение осложнялось тем, что на подступах к заводу лежала слобода, и, отвечая на огонь, полк должен был с этим считаться. При третьей атаке, начатой со стороны шоссе, в тыл белым ударили заводские: литейщики, сварщики, крючечники, вальцовщики, кузнецы, слесаря. Располагали заводские люди пятью десятками винтовок с горсткою патронов на каждую. Но ведь известно, что одному стрелку легче попадать в мишень, состоящую из сотни голов, чем сотне — в одного. И потом, заводской народ снаряжен был холодным оружием: ломami, железными палками, пудовыми молотами, прочею сокрушительною металлической утварью. Подкравшись через выемы железнодорожного полотна к слободским огородам, люди завода с гиканьем, с посвистом обрушились на окопавшихся у околицы солдат, и тут, воспользовавшись замешательством в рядах противника, с флангов навалились батальоны партизан. Отглушив, разбив, искромсав врага в рукопашном бою, партизаны всеми своими силами кинулись дальше — на берега Шугаевки. И среди наступавших, вперемежку с ними, шли прокатчики, слесаря, литейщики, — все, кого сталевар Никифор Дергун вывел на помощь партизанскому войску. Но это было только началом.

Жаркие бои развернулись по реке, на отмелях, на переправах, у мостов, куда полковник Валуев стянул все силы — пополненный отряд контрразведки, две батареи легких полевых орудий, казачий эскадрон охраны, сведенных наскоро в батальон стражников,

вестовых, курьеров, писарей и всяких иных обозников гарнизона.

Были тут и офицеры. При первых выстрелах партизанских пушек многие из них бросились за своим генералом вон из города, но казаки ловили их на улицах, на дорогах, в обозах, и они вынуждены были принять участие в обороне города. И не в обороне даже, как пытался представить дело полковник, а в прикрытии поспешного, сломя голову, бегства генерал-майора Саханова с его канцелярией, обозами, заложниками, многочисленными именитыми горожанами.

Эвакуация города в связи с катастрофой на центральном фронте началась еще несколько дней назад. И незачем, бессмысленно было оказывать сопротивление внезапному налету партизан. Незачем, бессмысленно было выполнять организованную контрразведкой кровавую затею. Но кто бы решился помешать, не подчиниться полковнику Валуеву? Полковник не считался ни с чинами, ни с армейской субординацией: он ловил, гнал за собою, ставил под свою команду всех, независимо от того, состоял офицер при генерале, пребывал на отдыхе, отлеживался в лазарете.

Все в городе знали, с какою холодной, расчетливой, мстительной жестокостью Валуев расправлялся со своими жертвами в застенках контрразведки. Он действовал по призыванию, он собственноручно расстреливал уличенных и неутомимо рыскал по городу в поисках подозрительных элементов. И теперь, сбросив мундир, в черной черкеске, с шашкой у пояса, полковник носился на взмыленном



жеребце (подарок предводителя дворянства Безрукова) с одного участка огневой линии на другой, сея среди трусливых ужас, заражая своим неистовством офицерские души.

Встреченные с городского берега, из-за прикрытий, пулеметным огнем, цепи партизан сдали, попятились, заколыхали гнутыми линиями вверх по подъемам слободского берега. А уже вступали в дело орудия белых, закидывали картечь на гребни берега, на шоссе и дальше, к роще.

Не было в это утро у партизан ни строго обдуманного плана, ни единого, какого требовала осада, командования. Была неукротимая воля — взять город, уничтожить в нем врага, была вера в правоту своего дела и была благодаря этому слаженность действий у войска.

Командиру батареи, фейерверкеру старой службы Овчаренко приказано было перебраться вслед за пехотой из рощи к мысу, что у каменоломни, а Овчаренко не только оказался у каменоломни, но и еще в двух пунктах, расположившись трезубцем против линии белых, поражая прямою наводкой центр и фланги, выгадывая при таком разумном расположении орудий снаряды.

Никто из командиров партизан, в том числе и комполка, младший унтер Накоряков, не представляли себе достаточно отчетливо, когда, в какой момент и где должны были вступить в бой конные силы нашего кузнеца — Жоры Швецова. А тот, зная отлично подступы к городу, все выходы и проходы в нем, все броды и мели на реке, выждал, осмотрел-

ся и один эскадрон под командою кавалериста Пашки Рагозина двинул низинами к паровым мельницам, на южную окраину города, а другой эскадрон повел сам, и не к железнодорожному мосту, как предполагалось в начале атаки, а ближе, на Пески, к северной окраине города, с тем, чтобы зайти к реке с тыла и нечаянно—негаданно вместе с первым эскадроном ворваться в расположение белых.

Так же, не теряя времени, не ожидая, когда о нем вспомнят, поступил и старый пулеметчик Пантелей с отрядом своих тачанок. Он прихватил с собою проводниками кое-кого из заводских ребят, переправился мелководьем, под прикрытием крутояра, на ту сторону Шугаевки, проскочил незримо для врага переулками к Семинарскому скверу и отсюда ударил на большой мост, что вел в слободу.

Таким образом, победа, какую в это утро об-руку с заводскими людьми одержали партизаны, складывалась из отважных и своевременных, хотя и не связанных как будто бы между собою, действий отдельных боевых отрядов. И не только отрядов, а и отдельных лиц, проявивших в борьбе с отлично вооруженными и умело управляемыми силами зоркость, находчивость, бесстрашие.

Чего и кого только не было здесь, в этой славной схватке с белыми утром 23 октября 1919 года! Дважды раненный, комиссар первого батальона сталевар Гурий Николадзе оставался в строю до последней минуты и, только когда все уже было кончено, свалился за-мертво. Белобрысый Никишка, командир второго батальона, с кучкою своих молодых

первый ворвался за дровяной склад, к одному из офицерских пулеметных гнезд, овладел им и направил огонь на фланг врага. Командир второго батальона Ермил Мальцев, комиссар полка Миронов, комполка Накоряков, сапер Артем Жилин из отряда Федосова, большоголовый бомбардир Галкин у третьего, старого, подлуженского орудия и многие, многие другие — командиры и рядовые стрелки, пешие и конные, люди Подлужья и шугаевцы с завода — выказали себя в боях так, что о каждом из них следовало бы написать «золотые страницы» — на память и радость молодым шугаевцам.

Одни падали — сраженные, другие перехватывали у них винтовки, подбирали патроны и шли вперед. Женщины не уступали мужьям, братьям своим, и среди «сестер первой помощи» надолго запомнят люди имена ткачих Анфисы Кавун, горбуньи Катруси Башиловой, Зотовых — матери и дочери. Да и Маремьяна Власьева не усидела дома. Вместе со своей Фроськой вышла она к фургонам Анфисы, и не было, кажется, в это утро места на слободском участке боя, где бы стрелки не видели этих двух — старую и юную, неутомимых и бесстрашных среди огня, стонов и воплей раненых.

Шаг за шагом партизаны подвигались от слободы к городу... Они уже овладели заводом, и это было началом конца белых. Над заводом снова развевалось кумачевое знамя, люди завода несли в ряды подлужан свою жизнь, все свое будущее, с этим нельзя было не победить.

Ординарец и связист полка Санька Гонча-

ров, завернув в разгар боя вместе с Дементьевым на заводской двор, видел, как этот суровый, вовсе не знающий улыбки человек, махал фуражкой собравшимся во дворе женщинам, смеялся и плакал. Слезы вызваны были радостью, а может быть, и тем еще, что в толпе видел Кронид Евдокимыч осиротевших детей, видел женщин, навеки разлученных со своими мужьями, братьями, сыновьями.

Завод снова переходил в руки истинных своих хозяев, и в этот раз шугаевскому королю металла уже не на что было рассчитывать, некуда было отступать... Разве только на задворки нашего существования, в ту преисподнюю наших навыков и вождедений, где революция только еще начиналась.

Канатчик завода и песнопевец Дуда с пятком стрелков прорвался на грузовой машине к южной окраине города, достиг аптечки, взял в плен провизора со всем, что у того было полезного для лазарета, и по домашним адресам, соданным со стенки аптечной кассы, прихватил с собою «по пути» двух лекарей: один полез в машину добровольно, а того, кто ссылался на недужность, Дуда уложил спеленутым в шерстяное одеяло...

Под прикрытием каменоломен, через рощу, грузовик с лекарями благополучно возвратился на завод. А уже залетала там, к северному двору, вражья шрапнель, сыпался кирпич с маковки дымовой трубы, что над сталелитейкою, и покрикивали сторожа на ребят, на женщин: убирались бы в безопасные углы. Но кто же станет слушаться сторожей, когда смерть в эти часы никого не путала? И не до

того было людям, чтобы думать о безопасных углах! Завод принимал раненых, кормил голодных, вооружал слобожан, охотившихся схватиться с врагом. И был он не одинок, завод: на разных концах города люди, близкие ему, вели лихорадочную работу разрушения, шли, не задумываясь, в огонь, совершали подвиги.

Швея Марфуша Нечаева, бежав вместе с другими из пересыльной тюрьмы, проникла ночью в загородную казарму, нашла здесь среди бунтовавших солдат своих друзей — заказчиков и при их содействии увела всех «иногородних» жителей Кубани за собою, к паровым мельницам, где кубанцы и засели, обстреливая из верхних мельничных этажей правый фланг контрразведки.

Слесарь Петр Лелих, ухитрившись с помощью вездесущего Кольки Зотова пробраться через разъезды и патрули белых на завод, повел заводскую колонну к тюрьме, прикрывал в числе немногих, имевших огнестрельное оружие, переправу к Пескам, был ранен, но оставался среди народа до той самой минуты, когда загремели распахиваемые настезь двери тюрьмы.

Железнодорожнику Антипову, метранпажу Оресту, Миньке Головачу, а с ними и Наумке Вагину, — всем им выпало в эту ночь немало испытаний. Но к утру наборщики трех типографий, покинув ночные работы, перебрались с Орестом к городской станции и там присоединились к отряду, сколоченному Антиповым. И это они, железнодорожники, об-руку с наборщиками Шугаевска, угнали со станции за город паровозы. Они, проведав о бегстве ге-

нерала с его челядью, дали знать попутным станциям, чтобы не было генералу ни паровоза, ни вагонов. И это они, железнодорожники, наборщики, метким огнем из окон вокзала, с площадок вагонов, с водокачки встретили преследуемых красными тачанками офицеров.

— Занят городской берег! — слышу я всюду в толпе, и от нетерпения у меня занимается дух.

Заглядываю в прокатку, перебегаю к магнитному крану, от него — к северному двору и здесь, неожиданно, встречаю среди ватаги конных стрелков крановщика завода, батальонного командира партизан Ермила Мальцева.

Он сидел на коне и еще дымился весь огнем боя. Полы его шинели местами были разодраны и в бурых, цвета ржавчины, пятнах, винтовку держал он поперек седла, фуражку заломил на затылок. Мне не узнать бы Мальцева — так исхудал, почернел, зарос он волосом. Но глаза, этот косой разрез их, эти огоньки во влажном их сумраке, — у кого, кроме нашего Ермила, могли быть такие глаза?

Приплясывая на низкорослом, мохнатом и злом по виду коньке, Ермил голосисто бранился: чего-то, кого-то здесь недоставало, а между тем ожидать некогда, каждая минута на счету.

— Я его, лешего, за бороду, за бороду подвешу! — кричал Ермил, беснуясь. — Русским языком сказано было...

Внезпно глаза его остановились на мне, он умолк, не закончив, взмахнул плеткою, выра-

жая своим движением что-то вроде: «Ах, дуй тебя горою!» Кинув винтовку за плечи, он выпрыгнул из седла, подшагнул ко мне, обхватил меня руками. Не спрашивая и не произнося ничего о себе, он протяжно, многозначительно выговорил:

— Вот, брат, колесо какое, а?!

И я понял это, как если бы услышал полное восхищения слово о величии и загадочности человеческих судеб.

Вслед Ермил спросил: что я тут и на чем я тут? А узнав, что еще ничто я тут, кинул мне:

— Значит, с нами!

Обернувшись к спешившимся конникам, он кричал:

— Стройся!.. Где Варакин? Эй, гони, брат, к мосту... за тачанкой... Стой, стой! — подбежал он к человеку, вскочившему в седло. — Ожидай нас за мостом... Понял? Придется городским берегом двигать! — продолжал он, обращаясь к народу.

Конники садились по коням, строились, перекликались между собою. Зацепив своего конька под уздцы, Ермил повернулся ко мне.

— Вот уж к часу приспел, Глотыч! — говорил он, уставившись на меня жарким, рассеянным взглядом. — Понимаешь — генерала ловить едем... Приказ штаба... Обозы, ценности, прочее... И, главное, точные данные: заложников нахватал генерал. Понимаешь?

Я понимал только то, что мне предлагали принять участие в каком-то боевом задании. Этого мне было достаточно. А Ермил — снова в седло и прочь от меня. Через минуту он

возвращается, держа в поводу заседланного ярко-рыжей масти коня.

— Гурия Николадзе конек... Лезь! — бросает он мне повод и добавляет со вздохом: — Отъездился Гурий, две пули навывлет... А ты, брат, откуда же вывернулся? — как бы только теперь, по странной связи с гибелью ставлара, вспоминает он обо мне. — Говорили, будто захапали тебя!

— Был грех, Ермил, да вот, вырвался... — откликаюсь я и, видя, что Ермил опять готов оставить меня, хватаю его за плечо. — Стой!

Мне надо знать много и прежде всего, приняты ли меры к тому, чтобы овладеть тюрьмой.

— Есть, Глотыч, есть! — недослушав, успокаивает он меня. — О тюрьме ребята допрежь всего подумали... Лезь, не задерживаясь, в пути оповещу обо всем... При генерале-то вся именитая сволочь! — перекидывается он к своему. — Купечество, благородия с семьями, меньшевички, эсеры... Каша — не расхлебать!

— А далеко? — спрашиваю я, затягивая подругу.

Не отвечая мне, Ермил торопливо продолжает:

— Как глянул я на тебя, так и выиграл... Ей-бо! Вот, думаю, кстати наробраз объявился! Ты, вить, всю эту знать городскую по пальцам размежевать можешь, а я — темный! А Дементьев прямо сказал: «Скачи на всех парах, да чтобы никаких эксцессов! Головой отвечаешь...» Видал? А я, сам знаешь, беш-



ный... Обязательно эксцессы у меня получаются.

Он выговаривал «эксесы», заглядывал тревожно в лицо мне и, желая поскорее закрепить меня при себе, орал, обернувшись к конному строю:

— Эй, там! Давай сюда офицерскую...

Один из всадников, сняв через голову свернутую калачом шинель, кинул ее Ермилу.

— На время, брат! — говорил тот, расправляя шинель. — Видишь сам, какая на нем одежонка... — кивал он в мою сторону. — Примеряй, Никита, и — айда! Обозы-то с рассветом ушли...

На какой-то момент я весь отдаюсь богатству, внезапно свалившемся ко мне: не плохой конь, исправная шинель... Даже о наганах для меня позаботился Мальцев. Когда-то, в ссылке, был Никита Глотов не плохим лыжником, стрелял в голову белок, управлялся с непокорными, прямо из тайболы, конями... Я лезу в седло, примеряю стремяна, оправляюсь. Шинель мне не по росту, узковата, фуражка рваная, из-под фуражки торчком выбиваются отрастающие лохмы, а из-под лохм, как маки из бурьяна, топорщатся горячие (я это чувствую) уши. Нечего сказать, воин! Но ведь и эта, набранная Мальцевым, братва не лучше меня выглядит.

С песенкой, с посвистом, рысью выезжаем за ворота, поднимаемся в слободу. Вдали, на задах улицы, сивые клубы дыма. Сторонимся перед обозом с провиантом, спускаемся к Проломенскому мосту. Всюду на пути —

следы недавнего кровавого сражения. Ползут, увязая в песках, телеги с сидячими, лежащими ранеными, с женщинами, шагающими при телегах за кучеров. Пылят берегом, по отмелям, отряды стрелков с винтовками на плечах, скачут, дробно и глухо топоча, всадники по мосту, а там, за мостом, на той стороне реки, людские толпы, вереницы тачанок, верхоконные на углу, у каменного двухэтажного здания, с развевающимся алым полотнищем под кровлей.

— Штаб! — кричит мне Ермил, показывая плеткою на алое полотнище.

— Дементьев где теперь? — спрашиваю.

— Дементьев присутственные места берет... Почту, телеграф... Ясно? А это вот пугало Авенира Зотова! — скалит Ермил зубы в сторону сбочившейся при въезде на мост бронемашинны. — В ремонте стояла, наши с ремонтом-то не спешили, а он, Авенир, цап-царап машину — и в дело ее... Колдун — не мастер! Сам к мосту вывел... Орудий при ней никаких, один пулеметишка, а белые от нее... сломя голову... Пугало и есть!.. Эх, брат, про все не расскажешь... Ладно, выедем в поле, доложу! Жрать охота? — склоняется он ко мне и, не ожидая ответа, извлекает из кармана шинели ломоть хлеба. — С утра при себе вожу, а погрызть некогда... Так, с ломгем этим, и на тот свет представиться мог... А ты бери, бери, я у своих еще перейму! Хлеба на всех хватит...

Мы въезжаем на мост. Слышно, как о крайний каменный устой звонко шлепает волна. Задувал ветер, день портился. Из-за пестрых

кровель города наплывала в небо свинцовая пасмурь.

За мостом к нам примыкает еще несколько всадников — охотников ловить генерала, а с ними — пулемет на тачанке. Отряд наш, не сбавляя рыси, поворачивает берегом в сторону от Проломов.

## XI

Не раздумывая, присоединился я к отряду Ермила Мальцева и лишь за городом, в поле, почувствовал, как замотало меня это утро. Следовало передохнуть в городе, увидеть Дементьева, разобраться в обстановке, последить за судьбою тюремных товарищей, разузнать об Анне... Про себя я уже склонен был осуждать опрометчивый свой шаг, хотя, по совести говоря, мое участие в погоне могло оказаться более чем уместным. Ермил был прав, убеждая меня, что одному ему придется трудно, к тому же, отправляясь с ним, я наверстывал упущенное: в огне мне так и не довелось побывать.

Мы находились за городом, когда, отдав необходимые распоряжения своим конникам, Ермил нагнал меня, поехал рядом. Кажется, он чувствовал себя не лучше меня. Еще бы! Ряд дней батальонный командир не вылезал из седла, а сегодня ему довелось перенести еще и бой. Просто было удивительно, что после всего он принял на себя новое, нелегкое задание штаба.

Минутами Ермил клонил на грудь голову, и в его глазах появлялось что-то вроде плен-

ки, как у засыпающих птиц. Превозмогая себя, он все же отвечал на мои вопросы и добавлял кое-что от себя. Так, я узнал о самом важном, что пережили подпольщики со дня их бегства в Подлужье до последнего часа. И тут, оживившись, Ермил вспомнил о вылазке Дуды за лекарями.

— Понимаешь, он их провокацией поразил. «Пожалуйста, — говорит, — к нам, на завод, у нас хозяин помирает...» То есть вроде как сам Фокин, заводчик, при смерти.. И обоих тех лекарей на грузовик. Приехали, он им говорит: «Хозяин действительно душу богу отдал, а перед смертушкой вон сколько людей поцарапал». И представил им наших раненых... Видал, чего, шут гороховый, удумал?

Вида, что случай с лекарями меня не трогает, он заговорил о несчастье в семье сталевара Зотова.

— Слышал: средний-то сынок их, Игнатий, в ремонтном который состоял, сукой оказался... На посылках контрразведка его содержала... Наши с поличным Игнатку накрыли! Вот уж старика-то жаль, такой верный старик... И выходит: батюшка у белых в тюрьме томится, сынок у них в лягашах бегают..

Я выжидал момента, чтобы спросить об Анне. Или до сих пор о ней ничего не знали на заводе?

— Стой, Ермил! О Рудаковой слышно что, нет?

Задав свой вопрос, я затаился, готовя себя к любому ответу.

— Цела-невредима, — откликнулся Ермил; помолчав, добавил: — С утра ее на заводе

видели... Подалась будто с заводскими к тюрьме, тюрьму выручать.

Ермил Мальцев не обязан был знать и не знал, как многие из окружающих, того, чем была для меня Анна. Но тусклый, полный равнодушия голос, каким говорил он об Анне, вызвал раздражение у меня. Только переспросив и убедившись, что равнодушие Ермила объяснялось уверенностью в благополучии Анны, я смог отдаться радости.

Усталость мою как рукой сняло: Анна целаневредима!

По-новому вглядываюсь в Ермила: узнаю в нем себя, что-то от Анны, узнаю в нем всех, кого я любил, как любил себя в эти минуты.

И те люди, что месили позади нас песок под копытами коней своих, и та вон стая галок, раскричавшаяся над леском к непогоде, и это небо, и эта земля под нами, — все, что видел и слышал я вокруг, было мило мне, как никогда, и близко, как никогда. Это — счастье!

Человек — это вселенная, говорил я себе тогда, в дороге, поглядывая на Ермила. Говорю так и сегодня, спустя много лет, вспоминая погоню за генералом, первую весть об Анне, тогдашнее свое счастье. Прошлое принадлежало в те минуты Готову так же, как и этот счастливый день его. История не знала, кажется, событий, которые не служили бы Никите Готову. Все они, от первого раба, предпочитавшего морскую пучину тысячам дней в неволе галеры, от раба до коммунара, умирающего под камнями своей баррикады,

жили и действовали для него, Никиты, и это их голос слышал он, подвигаясь полем, проселками, рядом с шугаевским крановщиком Мальцевым, это их жизненная сила, поток их дел и дум, никогда не отцветающих, наполняли его светом.

Да, ты не одинок, поступь твоя не одинока, Никита! С тобою твои единомышленники, твой завод, город, гнезда городов, и сама вечность посылает в круг твоих чувств, твоих помыслов целительные волны. Поколения шлют тебе из пространства весть свою: это голос трав у подножия твоего роста, это волнующий прибой событий, подготавливавших тебя.

Я начинаю постигать сегодня всех, кто открыл эту дорогу твоей жизни, кто первым вступил на нее. Они позади и с нами, я слышу настороженную тяжесть рук их на твоём плече. И разве не затем над материками пролился дождь их мысли и крови, чтобы ты и я, ты и я с тобою, оба мы стали нынче еще более счастливыми, чем даже тогда, в день освобождения Шугаевска?

Отряд только что перебрался через речку, тройка вынесла тачанку на проселочную дорогу, к дачам. Пески как будто бы подтвердили. Указывая плеткою куда-то за буерак, Ермил покричал:

— Дача адвоката Ноландта... Вон-вон... крыша зеленая! В прошлом году с Шеповалом ночевал я у адвоката... Обыски загородные!.. Ты адвоката помнишь? Тот, который Рудакову перед царским судом защищал!

Да, я хорошо помню этого либерала. В свое

время Анна хлопотала о нем перед чекистами, а мое мнение всегда было такое: адвокат — лиса, старая лиса!

— Лиса-то, брат, лиса, это верно! — подхватывает Ермил. — А нынче опять он Рудакову прикрыл... Говорил тебе я, нет?

Он ни звука раньше не обронил о новой услуге нам адвоката, и, так как здесь опять упоминалась Анна, я вновь почувствовал горечь: разве трудно было Ермилу передать мне все сразу о Рудаковой?

— У тебя вовсе память разболталась, Ермил! — откликаюсь я. — Как же адвокат укрыл Анну?

— А так: казачишки — в город, она — сюда, на дачи...

Я припоминаю свой разговор с Дементьевым: при свидании тот утаил от меня место пребывания Анны.

— А в подполье о Рудаковой когда узнали? — обращаюсь к Ермилу с новым вопросом.

— Вскорости и узнали. Да что! Она о себе сама дала знать... Слушай!

И он рассказал все, что знал об Анне, вплоть до своего участия в передаче ей шифрованного наказа: скрываться терпеливо у адвоката, попутно наблюдать, слушать и передавать, что надо, подполью.

— Голова у Кронида — палата, зря у него никто не посидит! — похвалился Ермил Дементьевым.

Я замолчал, стараясь представить себе Анну в роли разведчицы подполья.

— Но кто же окружал ее в доме адвоката?

— Кто, кто! — уже ворчливо откликается

Ермил. — К адвокату городские заезжали, гости всякие... Из штаба тоже был один, от генерала... Ясно?

— Ясно... — роняю я, одолевая внезапную хрипоту в голосе. — Ну и что же... имелись от Рудаковой сообщения?

— А ты за кого принимаешь ее? — Ермил сурово вглядывается в меня. — Сообщала, как же! Насчет угрозы ремонтникам, в связи с бронепоездом — раз! О карателе-капитане — два! Эх, брат, — вскидывается он в седле, — вот уж всыпали мы капитану этому... Ты слушай!

И он принялся за рассказ о сражении подлужан с войском капитана. Я слушал, стараясь развязаться с беспокойными мыслями, вернуть себе прежнее состояние счастливого возбуждения, но это решительно мне не удалось. Что-то темное, как предчувствие беды, закрадывалось в мое сердце.

Мы подвигались полем, проселками, мочегинами, и вместе с Мальцевым я старался помочь людям претерпеть тягости дороги. Две силы, две заботы владели подлуженскими конниками: догнать генерала с обозами, уберечь коня под стрелком. Без коня не взять и генерала, главное — конь. Поработать животному сегодня довелось с излишком, и ведь, как ни подходи к нему, животное уговорами, словом о генерале не подстегнешь.

В попутном хуторке нам пришлось дать коням передышку, заодно подкрепились и люди. Хуторяне сообщили, что генерал простоял у них из-за поломки машины до полдня, обозы прошли еще позже, — пески, речушки,



никудашные гати. Охрана при генерале — десяток сабель да стрелки в обозах. О пулеметах вовсе не было слышно. Видимо, бежал генерал налегке. — Много ли еще осталось до станции? Хуторяне прицеливались к нам, к нашей конной тяге и говорили, что к ночи, пожалуй, мы доберемся. Путь здесь измеряли не по верстам, а по нашим коням и нашим желаниям.

— Слушай-ка! — перехватил меня Ермил при выезде из хутора. — Как ты рассуждаешь, кого генерал в заложники нахватал?

Я качаю головой, он продолжает:

— Ты вот о себе говорил... А знаешь, по всей видимости, тебя они тоже тащили в обоз... Поручик этот, солдат в конвое... Как полагаешь, а?

Я полагал то же, что и Мальцев. Беспокойство мое росло, и вместе с сумерками, спустившимися на степь, за вечерело и у меня на сердце.

...Станцию мы заняли без единого выстрела: подобралась к ней в потемках с трех сторон. Четвертая, к Шугаевску, оставалась свободною. Но никто из солдат генерала не пытался воспользоваться этим: бежать было некуда, сопротивляться — бесполезно. К тому же внезапное наше появление оказалось столь неожиданным, что и те, кто захотел бы сопротивляться или по крайней мере бежать, не успели бы ни поднять оружия, ни вскочить в седло.

На станции стояли вагоны, товарные и пассажирские, но не было паровоза. По приказу генерала начальник его штаба и двое офице-

ров сидели на телеграфе, пытаюсь связаться с городом, с соседней станцией. Город молчал, соседняя станция отвечала: тяговой силой она не располагает, попробует снестись с соседом, где будто бы стоит какой-то фронтальной эшелон... За этими переговорами на телеграфе мы и застали господ офицеров.

Вышло так, что Мальцев занялся розыском заложников, а мне довелось хлопотать и с генералом, и с его чинами. Впрочем, моя задача заключалась лишь в надзоре за действиями группы партизан во главе с бравым подлужником из фронтовиков.

Разоружив тех трех в телеграфной, мы оставили при них караул, а сами направились к вагону, в котором расположился генерал. Повидимому, Саханов ценил уединение и не желал расставаться со своими привычками даже в беспокойном пути.

Оцепив вагон, мы вдвоем с командиром нашей группы поднялись в тамбур, оттуда, один за другим, ввалились в коридор. Крайнее купе было открыто, горели свечи, человек в солдатской куртке, с фартуком по горло расставлял на подмостках, застеленных скатертью, всяческую еду. Обернувшись к нам, человек крикнул: «Куда прете?!» Никифор Бавыкин, командир мой, жадно приняхивался к яствам и в ответ на окрик замахнулся на человека. Тот, стоя между нами и столом, продолжал кричать: «Сукины сыны, не видите, где находитесь?» И только теперь мой командир поднес к лицу крикуна наган. Человек попятился, умолк, но в ближнем купе с грохотом отодвинулась дверь, и сам гене-

рал-майор Саханов просунул из-за двери голову. Коридорчик был освещен тускло. Все же я разглядел крылатую скобелевскую бороду и понял, что предо мною — начальник шугаевского гарнизона. Впопыхах Саханов набросил мундир поверх исподнего белья. Вероятно, он прилег вздремнуть, его голос, умеренно басовитый, был еще сонным.

— Что такое? К-хо, к-хо...

Генерал прочищал горло.

Бавыкин метнул глазом из-под желтой соломенной брови в мою сторону: твой-де разговор, — и громко, скорее с раздражением, чем с насмешкою, я проговорил:

— Ваше превосходительство, паровоз подан!

Вглядываясь в меня, генерал по-стариковски, неуклюже, ощупывал рукою грудь — искал свои очки, что ли. Моя злая шутка не произвела впечатления, и я сам воспринял ее досадливо, как если бы, замахнувшись по цели, угодил рукою в пустоту.

— Вы арестованы!

Произнеся это, я подвинулся к нему.

— Н-не понимаю! — пророкотал генерал и, отыскав в кармашке мундира пенсне, кинул его на нос.

Теперь он разглядел нас.

— С кем, собственно... — Он хотел, несомненно, обратиться к нам привычно: «С кем имею честь», но, во-время одернув себя, закончил крикливо: — Прошу... русским языком...

Тогда, не выдержав, вмешался Бавыкин:

— Русским языком и говорят... Одевайся!

— Н-но па-а-азвольте... — задохнулся гене-

рал и, как бы вникнув наконец в жуткий смысл нашего появления, отшатнулся внутрь купе.

Бавыкин шагнул за ним, я удержал Бавыкина: скрыться генералу некуда, разве только на тот свет, но этого-то я и не ожидал от него. По всему было видно: слишком много растерял человек, и не ему, Саханову, сыскать сейчас то, необходимое, с чем удаляются из жизни по своей воле. Вскоре генерал показался снова. Глядя на него, приодевшегося, я никак не мог восстановить в своем сознании тех чувств ненависти, отвращения, какие овладевали мной при одном упоминании о начальнике белого гарнизона. Но Бавыкин вперил в генерала взгляд, полный страстного негодования. Для Бавыкина не существовало зла вне его носителей, как не существовало, например, для моряка попутного ветра, если на челне не было паруса — где парус, там и ветер, где ветер, там должен быть и парус.

И не вчера ли еще генералу дул ветер попутный, не вчера ли еще снаряжал он солдат для кровавой борьбы с Шугаевском?

— Оружие! — придвинулся я к генералу.

В эту минуту из тамбура показался Мальцев. Стремительный шаг его, распахнутая вольно шинель, горластый голос сказали мне сразу: Ермил на взлете.

— Сыскались? — вполоборота к нему спросил я.

— Живы-невредимы! Перебросил всех из вагонов в здание... Шпану — в задний класс, своих — к буфету! — говорил Ермил, не обращая внимания на фигуру генерала у двери. —

И знаешь... Зотов-то, старик-то, сталевар-то... здесь... Ей-ей!.. Это что? — прерывая себя, отвел он глаза на дверь и, не ожидая моего ответа, закричал в лицо генералу: — Ну, ваша благородь, сорвалась добыча твоя! Крючок не выдержал...

Я отпросился у Ермила взглянуть на заложников.

— Иди, иди! — немедля согласился тот. — Управимся без тебя... Только, чур, не надолго! — крикнул вслед мне. — Там видимо-невидимо беглецов всяких... Француз Бертран, капитан Неверов с завода, этот... как его!.. Ладно, разберемся!

Я вышел наружу. По кровлям, в проводах, над тускло поблескивающими рельсами гулял черный ночной ветер, прибоем накатывали людской говор, лязг оружия.

У входа в станционное здание, под колоколом, стояли двое партизан с винтовками. Ветер качал на кронштейне фонарь, свет от него вразмах осенял шинели, бородатые лица.

— Семейства благородные сторожим! — проговорил один, узнавая меня. — И куда только девать их будем?

Большая, казарменного вида, зала перегорожена была дощатою аркою, и за аркой помещался буфет, а по эту сторону — пассажирская. Освещаемая единственной у входа лампой, пассажирская тонула в глубоком сумраке. Одурающая вонь давно непроветриваемого помещения, смешанная с острыми запахами духов и пудры, перехватила мне дыхание. Я шагал через узлы и чемоданы, через кар-

тонные коробки и корзины, наступал кому-то на ноги, ронял зонты, трости и все время ожидал, что за мною потянутся жалобы, упреки, может быть, брань. Но тишина, густая, вязкая, как воздух здесь, сопровождала меня. Я видел вороха голов в шляпках, в котелках, в фуражках чиновничьего покроя, видел устремленные в мою сторону глаза, поблескивающие в сумраке, как угли из-под пепла. Только подходя к арке, услышал я за собою детский плач. И этот голос своевольной, ни с чем не считающейся жизни, голос, безучастный к нам и нашей вражде, заставил меня оглянуться. Молодая женщина, стоя у скамьи на коленях, возилась с ребенком, кто-то ей помогал, чья-то рука трясла над скамьей погремущу... Мой взгляд столкнулся с взглядом женщины, и я отвернулся, ослепленный: сквозь влажное сияние материнской ласки, сминая его, хлынула на меня ненависть. И эта внезапная в глазах женщины смена одной страсти другою поразила меня.

В буфетной было менеелюдно, сталевара Зотова я разглядел еще из прохода под аркою. Старик устроился за стойкою, у самовара. Он мало за время своего тюремного заточения изменился, как если бы долгая, полная тяжелых испытаний жизнь давно притупила здесь резец свой: все было сточено, заглажено, просверлено, и то, что еще оставалось у человеческой этой модели, уже не поддавалось изменениям. Фома Артемыч сохранил даже свой замызганный, зашарканный, подпаленный пиджачишко, и на его груди, под посеребренной бородкою, топорщился

издревле знакомый мне синий, в полоску, ситчик.

Я окликнул его, он метнул в меня из-под косматых бровей карими глазами, спустил с растопыренных пальцев блюдечко, встал, отряхнулся и мелким шажком направился ко мне. Не доходя немного, он занес ко рту руку, отер старательно у себя под усами и затем обнял меня.

— Цел, Никитушка? — вымолвил он, и по голосу, глухому и трудному, вовсе незнакомому, я понял, что нет, не даром Фоме Артемычу досталась тюрьма.

— Цел, Артемыч, цел...

— Наш брат в огне не горит, в воде не тонет!

И он щербато ослабился, не отнимая от моей груди своей руки, укрытой бурой, как железный мох, ворсиною. И те же, знакомые, излучины вен на руке: переплелись, как изгибы рек на географической карте.

Мы садимся у стойки, нас тотчас же обступают. Тут Яков Худяков из болтового цеха, кладовщик Игнатьев, подручный кузнеца Швецова Емельян Сеницын. Подошли, крадучись, двое инженеров — Росляков, начальник болтового цеха, Мижуев, он же Черномор, исполнявший при советах обязанности главного инженера. Оказывается, генерал прихватил и этих с собою... Мижуев — заложник, это еще понятно мне. Но... Росляков, дважды подвергавшийся аресту при советской власти, всегда враждовавший с рабочими! Как он-то угодил в немилость к генералу? Допытываться, разузнавать было некогда, тем

более, что вслед за инженерами мне представили человека, которого я также не ожидал встретить среди генеральских заложников: профессора Шахова, да не одного, а с дочерью, подростком. Видимо, генеральский режим восстановил против себя все честное даже среди мирных обывателей! Впрочем, Шахов слыл в городе народным социалистом, был членом Государственной думы, читал лекции в рабочих аудиториях, не отказывал и нам с Анною по наробразу в своих выступлениях. Историк Шахов не узнал во мне шугаевского комиссара просвещения, вероятно, потому, что чаще ему доводилось иметь дело с Анною. Я постарался отделаться от разговора, к которому профессор приготовился, я предпочитал уединиться со стариком Зотовым, унять тревожную возню в мыслях, пригреться около него. Ни о Владиславе Санто, ни о Марфуше Нечаевой никто из тюремных арестантов не знал здесь... Я беру Фому Артемыча под руку и направляюсь с ним за стойку, подальше от людей, но тут в буфетную влетает Ермил. Генерала он оставил под караулом и теперь хотел бы, чтобы я занялся с ним, Мальцевым, беженцами. Оказывается, в числе бежавших в обозе генерала были не только господа вроде предводителя дворянства Безрукова или отъявленного врага нашего, меньшевика Савина, а и кое-кто из либеральных шугаевцев, среди них вся семья адвоката Ноландта: сам адвокат, сестра его, шурин его — ученый биолог Погодин с супругою, с сыном-офицером, с дочерью.

— Где же они? — спрашиваю Ермила, втай-



не надеясь отложить тяжелую возню с беглецами до утра.

Впрочем, с адвокатом я непрочь был встретиться.

— Семьи здесь, в пассажирской, а весь мужской ряд держим в товарных, — откликается Ермил и, как бы угадывая мое настроение, спешит добавить: — Видишь ли, оставаться с этим народцем на станции, пока наши справятся с подорванным мостом, нельзя. Вдруг обнаружатся белые по линии? Придется с рассветом тем же путем в город.

— И всех... с собою?

— А как иначе? Кони, повозки — на мази. Представим всех чертей штабу, пускай штаб решает с каждым.

Ермил был прав, тем более, что наши попытки связаться с городом успеха не имели: возможно, на линии телеграфа повреждения, могло случиться и так, что дорогу к городу перехватила одна из белых банд.

Все же я не представлял себе, какие следовало принять меры по отношению к беженцам. Ермил объяснил: отобрать, взять под охрану более опасных, остальных — в обоз.

— Ты вот что, — предлагает Ермил, — иди ты в багажное помещение, садись за стол, а я крикну своим, чтобы тащили к нам по одному.

Следуя со мною к выходу, он, озираючись на заложников, спросил с тревогой:

— Ну, как... старик Зотов? Ты, часом, не проговорился ему насчет Игнатки? Нет? То-то! Доставим к семье, с семьей ему это горе легче перенести.

То, что Ермилу представлялось простым и не требующим много времени — опросить, прощупать беженцев, — заняло у нас всю ночь. Только перед самым рассветом мне удалось там же, в багажной, устроиться на отдых. Это был короткий тревожный сон, в котором я продолжал ощупывать и распутывать густую паутину людской трусости, подлости, лукавства. Особенно, помнится, преследовал меня адвокат Ноландт, обернувшийся в черепахоподобное существо с голым черепом, с огромной, похожей на кусок мяса, нижней губою: полз за мною, причмокивал, шипел по-змеиному. А между тем въяве был он страшно жалок, этот Лев Клавдиевич, и когда, вслед за его сообщением об Анне Рудаковой, которую он приютил на своей даче в качестве племянницы, я спросил: как, при каких обстоятельствах покинул хозяин дома гостью и что теперь с нею? — человек этот покраснел так, что казалось, будто на голом черепе его проступили капли крови. Конечно, он не знал и не мог ничего знать о «племяннице», оставив дом внезапно, «на произвол судьбы»... И не ради себя поступил так, видите ли, старый Ноландт, а ради сына, который мобилизован белыми и должен был благодаря этому бежать из города, спасаться. «Но его нет! — восклицал он. — Боже мой, его нет здесь до сих пор».

С зарею к городу от станции двинулся огромный обоз — телеги, брички, двуколки, тарантасы, плетеные шарабаны, даже беговые дрожки с двумя кооператорами, членами губернского комитета социалистов-революцио-

неров. Отличные породистые кони именитых горожан шли вперемежку с костлявыми клячами горожан попроще. Машину генерала Саханова из-за поломок и неимения бензина пришлось оставить на станции. Поместился генерал вместе с предводителем дворянства Безруковым и двумя офицерами штаба в полковой арбе. Арба была такая высокая, что Александр Безруков вылезал по нужде наружу с помощью подлуженских конвоиров. Пожилой, смуглолицый, кудреватый, предводитель дворянства походил выдающимися своими бедрами на женщину с турниором, и конвоиры, пособляя ему, ухмылялись в бороды. «То ли предводитель, то ли предводительща!»

За арбою генерала подвигались еще две, такие же — с чинами, с писарями штаба. Шел затем нарядный фаэтон мукомола Исидора Глаголева, заваленный чемоданами, портплекдами, какими-то мешками. За Глаголевым в мужичьей повозке устроился помощник присяжного поверенного, меньшевик Дорофей Савин со своею рослой, похожей на гвардейца, супругою. Супруга басовито переругивалась с конниками, а Дорофей сидел покорно и молча, близоруко помигивая под ветром сырыми глазками, всунувши скулы в поднятый воротник пальто. Ближе к хвосту обоза, наполненного детьми и женщинами, среди солдат о поклажею, тащились в телегах кое-кто из чиновников и биржевых дельцов, а среди них — администрация завода: экс-директор, француз Леон Бертран, уполномоченный командования на заводе капитан Неверов, инже-

нер из военных саперов Кречетов, начальник прокатки Жбыхов, начальник мартеновского цеха Самойлов, еще кто-то.

Странное это было зрелище, наш обоз. Кого и чего только не было здесь! «Всякой твари по паре», — говорил Ермил невесело. Он охотно оставил бы население старого Шугаевска на станции или вывалил бы его вместе с его добром где-нибудь по пути в овражках... Но... штаб наказывал все это доставить в город.

В хвосте обоза тянулись повозки с семьями беглецов, и вот этого-то места Ермил особенно избегал. Не то чтобы женщины с детьми, с нянями, с кормилицами были особенно беспокойны и требовательны. Нет! Жены всех этих капитанов, коллежских асессоров, помещиков и коммерсантов держали себя тихо, покорно и безропотно. Но в безропотной их покорности таилось что-то сумрачное, зловеще выжидающее, и было еще такое здесь, что вселяло в сердце Ермила неясную ему самому тревогу, как если бы молодые, нарядные, умело откормленные матери, жены и сестры из поверженного шугаевского общества представляли собою угрозу городу, заводу, всему краю! А между тем, повторяю, вели себя женщины кротко, и некоторые из них, как бы чувствуя тайную, недозволенную власть свою, рассыпались перед нами в благодарностях за то небольшое, что мы позволяли им: неурочные остановки, замена открытых повозок закрытыми и прочее. Они слали встречу нам улыбки, провожали нас более настойчивыми, чем это требовало про-

стое любопытство, взглядами. Несомненно, без уговору между собою, в едином порыве самосохранения, они все без исключения старались смирить нас, врагов своих, внушить нам, как следовало держаться с ними. Но я улавливал в полусогретых и робких улыбках, в том, как приглядывались к нам иные из них, нечто более значительное, чем простое желание смягчить наши сердца. Чувствуя свою беззащитность и ненадежность тех, кто укрывал их до сих пор, они тянулись мимо-вольно, едва ли вполне сознавая это, к людям враждебного им, но побеждающего на их глазах лагеря. Извечная сила материнства, жажда роста, опыления, властный голос крови сказывались здесь с тою неукротимостью, с какою полые воды, встретив на своем пути каменную гряду, выходят из берегов, роют себе новые русла.

День был дождливый, ветреный, с колеблющимися кисейными далями, с мокрым глянцем на придорожных соснах, с морщинистыми под ветром лужами по рытвинам. К сумеркам из-за облачной завесы, на западе, прорвалось мутное солнечное зарево. Обоз спускался к дачному поселку, до города оставалось верст десять, не больше. Ко мне подъехал Ермил.

— Тут усадьба Ноландта скоро.. Не мешало бы заглянуть! Шут его знает, кто там сейчас?.. У адвоката — слышал? — сынок младший в гарнизоне генерала.

Я согласился с ним: заглянуть следовало.

— Пошлем-ка Бавыкина с парюю конни-

ков... — предложил Ермил, поворачивая от меня.

Я остановил его:

— А что если мне туда?

Он чуть подумал.

— И то дело! Только не задерживайся.

— На переправе догоню, будь покоен.

## XII

С двумя конными стрелками я завернул к усадьбе Ноландта. Никого, кроме работницы, потрясенной нашим появлением, мы не нашли здесь. Готовясь оставить дом, я выслал своих подлужан наружу, к коням, а сам попросил женщину указать мне комнату Анны.

— У вас тут до последнего дня проживала... — начал я и смешался, не зная, под каким именем Анна скрывалась в семье адвоката.

Работница ожидала, кутаясь с головою в огромную, как конская полона, шаль. Вспомнив, со слов адвоката, что он выдавал Анну за приезжую из Бежецка родную племянницу, я поднял голос:

— Покажите мне, где находилась у вас племянница...

— Ах, нету, нету ее! — подхватила женщина, приметно вздрагивая. — Вчера выбыла, а куда — не сказалась...

— Да, но где жила она? Слышите?! — прикрикнул я, видя, что понять меня не собираются.

Растерянно бормоча про себя, женщина сорвалась с места. Я последовал за нею.

— Тут жила барышня... — проговорила она, впуская меня в угловую, с окном и стеклянной дверью на балкон, комнату. — Тут! А только, убейте меня, ничего не знаю.

Я отстранил ее, прихлопнул за собою дверь и закружил по комнате.

Тяжелая у стены софа закидана постельным бельем. Между дверью и нарядным, в бронзе, шкафчиком что-то вроде туалета, с тазом, еще хранившим следы мыльной пены. На письменном столе — дешевенький гребень, из тех, какие носили в своих прическах слободские девушки Шугаевска.

Анна! Здесь жила Анна Рудакова... Ее нет и она здесь, каждая вещь вокруг согрета ее дыханием, касаниями ее рук.

Мое состояние должно быть понятно всякому, кто, подобно мне, перенес мучительную разлуку, не раз в мыслях прощался навеки с любимую и потом, неожиданно, оказался в комнате, где та провела много дней.

Взглянув через стеклянную дверь в глубину парка, я вышел на балкон.

Старые темностволие липы, аллея из лип, уходящая вдаль; остатки — ближе к дому — затейливой клумбы, решетчатая ограда в отсветах глухой зари, — все это встречало Анну ежедневно, утро и вечер, на всем этом неслучно раз останавливался взгляд милых опечаленных глаз ее. Сюда, по этим ступеням, она спускалась в парк, шла к той вон клумбе, озиралась по сторонам... Вздогнув, я широко раскрываю глаза. Когда-то я уже видел Анну в этой аллее, вблизи этой решетчатой ограды,

за тою вон клумбою! Но когда, при каких обстоятельствах?

То, о чем еще вчера слышал я от Мальцева и что непрестанно бередило мое сознание, вновь нахлынуло на меня, неуловимое в своей загадочности. Я возвращаюсь в комнату и мечусь из угла в угол, заглядываю всюду, рывком выдвигаю ящик стола, запускаю в глубину ящика руку. Так и есть! Впопыхах Анна не успела проверить стол. В ящике — книга, стопка писчей бумаги, плотный голубой конверт с тщательно выведенною надписью: «Лично, Анне Георгиевне Обориной». Под адресом — лиловый штамп с неясным обозначением штаба какого-то, не то полевого, не то запасного полка.

«Оборина, Анна Оборина!» — Я тискаю между пальцами конверт и ощущаю на скулах жгучий румянец. На сердце у меня смятение.

Анна под вымышленным именем племянницы адвоката, Анна в необычной обстановке, странная игра ее, эта переписка: «Лично, Анне Обориной...» Конверт был вскрыт до меня, он пуст.

«Спокойствие, спокойствие», — говорю я себе и продолжаю бегать глазами по столу, по софе, закиданной постельным бельем. У меня нестерпимое желание перевернуть все, обросить с софы простыни, ощупать наволочки на подушках. «Опомнись, Никита! — останавливаю я себя. — На кого ты похож?..»

Я не узнаю себя, вернее, узнаю в себе кого-то, кто тайно, несмотря ни на что, жил во мне все эти годы. Подполье, тюрьма, мои



мечты об особенном, совершенном мире человека, громкие фразы в моих писаниях, в разговорах с близкими, — все падает, отступает, погружается в сумрак. И это — при одной мысли, что тот, кого я считал своим безраздельно, имел что-то скрытое от меня, подчиненное своим собственным понятиям и целям... Ну да, целям! Потому что ведь не для развлечения же сидела Анна у Ноландтов, не ради же себя терпела она это паскудное окружение, получала эти голубые конверты со штампами...

Я сознаю всю дикость моей тревоги, темной, въедливой, но не нахожу сил, чтобы отделаться от нее, и чувствую, как во мне подымается неприязнь к Анне. Словно не я, Глотов, а она, только она одна, повинна была в поднятой со дна моего сознания мути. Кажется, мне было бы легче видеть здесь, в чужом доме, следы самых тяжких ее страданий, только не эти... знаки загадочной ее деятельности среди ненавистных мне людей, врагов наших.

Гетель! Она читала Гегеля.. Я вскидываю извлеченную из ящика стола книгу, торможу ее, подымаю корешком вверх. С легким шорохом на стол падают сухие листья клена, а с ними — голубоватый, одного цвета с конвертом, обрывок бумаги: записка!

«Дорогая Анна Георгиевна», — читаю первую строку и, не заглядывая дальше, комкаю записку, опускаю ее вместе с конвертом в карман, рядом с наганом. Туда же прячу гребень Анны. Зачем, к чему? Очевидно, с тем только, чтобы возвратить все это Анне... За

порогом, вскрикнув, отступает от меня работница. Должно быть, я кажусь ей кем-то, кто способен на всё самое страшное, а этот дом и каждая вещь, что в нем, отданы были ее попечению. Перепуганная насмерть, она все же отваживается брести за мною, ощупывать взглядом мои карманы. Чорт! Я оглядываюсь, как бы намереваясь заговорить, и тогда она остается на месте.

Первое, что бросается мне в глаза у крыльца, было: стоя подле коней, спустив к ногам винтовки, стрелки мои утоляют голод, рвут зубами куски добытого где-то мяса. Породистый, с отвратительной мордую, нес пристально следит за ними из-под крыльца, тихонько рычит. Покончив со своею костью, один из подлужан кидает ее псу и, отирая пальцы о полы шинели, кричит куда-то в сторону:

— Эй, там! Вот — начальник...

Из-за крыльца показывается человек. Он в пальто, в сапогах по колена, в фуражке с техническим значком на околыше. Приблизившись, говорит:

— Инженер Ноландт, сын присяжного поверенного Льва Ноландта, хозяина дома.

Плотная, как бы из металла отлитая бородка, уши, тесно прижатые к вискам, темные, без блеска, глаза... Что-то было вызывающее в нем, в его манере держаться — независимо и лениво, вразвалку.

— С кем имею? — заканчивает он сообщение о себе.

Не отвечая, я подхожу к нему вплотную:

— Оружие?

— Не располагаю! — Инженер снижает голос: — Два слова к вам, только... наедине!

Кажется, он готов взять меня под руку, но во-время ловит недоброе движение в моем лице и торопливо продолжает:

— Видите ли, в доме — офицер гарнизона, состоял при генерале адъютантом. Персона!

Я молча ожидаю, он продолжает:

— Бежал из города... В пути ранен... Стойте! — подымает он руку при попытке моей повернуть к дому. — Во-первых, адъютант не здесь... Во-вторых, я попросил бы вас запомнить... Но вы не сказали мне, с кем имею?..

Поняв, что и на этот раз не добьется ответа, он произносит менее уверенно:

— Итак, прошу запомнить: вы нашли меня в усадьбе... То есть я сам вышел к вам и... открыл вам адъютанта штаба, хотя вы... готовились покинуть дом.

Последняя его фраза звучит двусмысленно: он как бы напоминает о моем неосторожном поведении в военных условиях.

— Отлично, — кидаю я хмуро, — где же этот?

Глазами инженер указывает на противоположный конец двора:

— Адъютант пожелал устроиться...

— В этой избе? — заканчиваю я за него. — Идемте!

Отшатнувшись, инженер выдавливает сквозь зубы:

— Прошу уволить... Адъютант — лежачий, вход открыт.

Один из стрелков, вскинув винтовку, де-

лает за мною шаг, но я киваю головой на инженера и отправляюсь к избе один.

Из тесных, пахнувших плесенью сеней дверь ведет внутрь избы. В сумраке, какой тут держался благодаря прикрытому снаружи ставню, мне удастся рассмотреть стол, за ним, у стены, койку, заваленную подушками.

— Аркадий, ты? — слышится хриповатый голос, и над горою подушек приподымается голова, обвитая бинтами, как чалмою.

— Спокойно, — произношу я негромко и одну руку — с наганом — направляю через стол к койке, а другою — свободною — с силою толкаю в раму окна.

С грохотом ставень распахивается, человек поворачивает ко мне голову. Мы узнаем друг друга немедленно.

— А-а... — стоном вырывается у адъютанта, и все на его лице как бы устремляется в бегство.

Да, я узнал его с первого взгляда и тут же вспомнил: фотография! Тюрьма, допрос в штабе, человек во френче, дикая его болтовня о близкой мне женщине, фотографический снимок в его руках, а на снимке — она, Анна! Так вот где я видел ее: аллея парка, цветочная клумба... Шла от клумбы к ограде, испуганно оглянулась, улыбнулась вслед, и так это осталось — испуг, улыбка.

Тогда, возвратясь с допроса в камеру к себе, я охотно соглашался с Владиславом: Анна еще не выслежена, а фотографию контрразведчики могли добыть случайно — при обысках в нашем общежитии, у любого из наших знакомых. И вот — аллея в парке, цветочная

клубба, решетчатая ограда вдали,— всё, как на снимке, а снимок в руках человека из штаба! По приказу подполья Анна следила за гостями адвоката, гости — за нею, и вот — фотография у этого гнуса... Но откуда проведет штаб обо мне, какими путями ухитрились там связать меня, Панфилова, арестанта, с Анною Обориной, племянницей адвоката?

Я испытываю желание схватить человека за горло и тут же, без промедления, распутать жуткую загадку. Но — сдерживаю себя. «Терпение, Никита, ты при исполнении обязанностей!»

Некоторое время мы молча глядим друг на друга, затем голова в бинтах валится на подушки, и я слышу:

— Так вы... бежали... господин Панфилов?

В тоне вопроса равнодушие отчаянья. Я откликаюсь:

— Бежал, господин адъютант, но... более удачно, чем вы!

— А город? — не слыша или не желая слышать моего замечания, продолжает он.

— Город взят, генерал с обозами также... Слушайте! — порываюсь я через стол к нему. — Прошлый раз, когда я находился в ваших руках, вы изволили... морочить мне голову... Помните: называли имя женщины, угрожали... Кто тут, собственно, подразумевался?

Он снова подымает голову, впивается в меня глазами.

— А вы... разве вы... не видели ее?

Должно быть, по выражению на моем лице он читает ответ. Из груди его вырывается вздох облегчения.

— Ах, я говорил тогда вам о мадемуазель Обориной, ближайшей родственнице господина...

Он мог не продолжать, мне все ясно, или почти все. Однако что-то беспокойное, как предчувствие беды, заставляет меня задать еще вопрос:

— Скажите... ваши молодцы из контрразведки... Как удалось им связать меня...

— С мадемуазель Обориной? — восклицает он.— Но, повторяю, она сама назвала вас, сама... понимаете?

Я гляжу на него и от бешенства теряю способность говорить. Он еще смеет играть со мною, издеваться, пятнать грязью ту, которая...

— Довольно! — кидаю я с тем спокойствием, за которым обычно у меня следовал взрыв: еще одно с его стороны слово, и... я не ручаюсь за себя.— Довольно, господин, вы не у себя в штабе... И потрудитесь встать, мне придется доставить вас в город.

— В город?— глухо вторит он за мною.— Но я... не имею сил... Дорога означала бы мой конец...

— А вы надеялись избежать его? — подхватываю я.

На одутловатых щеках адъютанта вспыхивает румянец, румянец сменяется сизым землистым тоном.

— Мое положение... военнопленного...— лепечет он.

— Ошибаетесь! — обрываю я его.— Речь идет об участнике вооруженного восстания... против народной власти... Еще несколько дней назад...

Теперь он не дает мне закончить. Всхрапывая, как при острой боли, адъютант приподымается на койке.

— Да, несколько дней назад я... сохранил вам жизнь...

— Ты... мне... жизнь? — срываюсь я на крик.

Помигивая, точно под занесенным ударом, он выдерживает мой взгляд.

— Да, жизнь... — твердит он. — Вы были обречены, я вырвал вас у нашей контрразведки... настоял на зачислении в заложники... И вообще... Не верите? Вот!

Он откидывает руку к столу, нащупывает что-то среди наваленной здесь рухляди, овладевает бумагой, протягивает ее мне. Рука его, знакомая, оранжерейная рука, прыгает, как в приступе озноба.

«Срочно, секретно! О выполнении донести...» — машинально пробегаю я глазами по измятой, полуразорванной бумаге. — «Со всеми прочими, без исключения, приказываю... в порядке военного времени... вне всякой пощады...»

Так вот чему обязан был я своим путешествием из тюрьмы в город под конвоем! И если бы мне тогда не удалось бежать... Догадки Ермила Мальцева имели основание. Но я хочу знать все! Впрочем, нет, я ничего не хочу знать, я не желаю слушать этого негодяя, я сумею заткнуть ему глотку.

Волнение мое не могло остаться незамеченным для него. В мутных, воспаленных глазах его загораются огоньки. Он цепляется руками за край стола, садится в постели.

— Терпение... Я открою вам все...

Имя, которое в те предсмертные тюремные дни я произносил как жалобу, как зов к кому-то, кто был бесконечно дорог мне, вылетает из чужого горла вместе со стоном, исторгнутым страхом. Белотелый выродок этот смеет защищаться именем Анны, он цепляется за нее окровавленной лапой, он прячется за нее, как за щит.

Чутьем преследуемого животного он проник в меня, подслушал меня без слов и понял, верно, что отступать ему некуда. А если так, то...

— Анна, Анна Оборина, она же Рудакова...— выкривает он в лицо мне.— Что, слышали о такой? Знайте же: ей, только ей, обязаны вы головою!

Моя рука судорожно сжимает наган, но я молчу, как если бы язык отнялся у меня. И человек во френче пользуется этим, он спешит, он приготовил себя ко всему. Его ненависть ко мне, к тому, что мне дорого, сильнее страха смерти. В его ярости нет ему равных, за ним — ложь, предательство.

— Да, я проиграл, господин Панфилов... Проиграл вам, но выиграл... где-то еще. Это был договор сердца, и я взял свое... Я взял все, что могла... дать... женщина!

Он говорил и дальше, пришептывая, вскрикивая, не спуская с меня глаз, явно наслаждаясь властью надо мной, мстя мне за то последнее, что ожидал от меня и что бессилён был предотвратить. И я не выдержал.

Рванувшись к нему через стол, я вскинул руку с наганом и вдруг увидел: не отрывая



от меня искаженных ненавистью глаз, он тянулся рукою к изголовью, под тряпье. С силою я нажал спуск в нагане.

### XIII

Во дворе, хмурые, затихшие, встретили меня стрелки — подлужане. Бледнея при моем приближении, следил за каждым моим движением инженер Ноландт.

— На коней, — бросил я вполголоса и первый поднялся в седло. — Этого... — в сторону инженера: — с собою!

Оглянувшись затем, я видел, как далеко позади, неторопливо и вязко, вышагивал по пескам инженер, а по обе от него стороны плелись мои верхоконные.

Я пустил коня вскачь. Но... где же было коню состязаться с тем, что незримым скоком проносилось в моем мозгу! Стремительный конский полет воспринимался мною так, словно я полз пешком и притом с грузом за плечами.

Только у города мне удалось нагнать обозы. Отыскав Мальцева, я сообщил ему о случившемся в усадьбе адвоката. Он на всем бегу остановил коня, густо покраснел, должно быть, в порыве огорчения за меня, но ничего не сказал. Чуть погода несколько всадников во главе с Бавыкиным повернули назад от обоза, и я понял — к усадьбе Ноландта.

Шутаевск праздновал победу. Это был и мой праздник. Враг смят, повален, разбит наголову... Но, издыхая, он ухитрился ужалить меня, и я не в состоянии был остановить раз-

рушительную работу, какая, подобно недугу, происходила в моем сознании. Я радовался вместе с окружающими, но моя радость заволакивалась пасмурью, и даже при встрече с Кронидом Дементьевым мне не удалось развязаться с назойливыми мыслями. Подметив неладное, не к лицу событий, состояние мое, Кронид объяснил его по-своему.

— Ничего, брат, не поделаешь, — вздохнул он с обычной своей сдержанностью, — побед без жертв не бывает.

Кронид разумел друзей, которых мы, овладев Шугаевском, не досчитались в своих рядах. Не было Тита Шеповала, угас, надорвавшись, дядя Ваня, погиб Осип Нахимсон, пал за день до штурма города Владислав Санто.

Слушая о последних минутах Владислава, я ничем не выразил Крониду своего горя... Владислав был в прошлом, он переступил порог возможных страданий и уже не нуждался в сочувствии. А я весь тут, в настоящем, и оно требовало от меня каких-то решений!

Я оставил Дементьева, не сказав ни слова о себе... И о чем бы говорил я ему, не повидавшись с Анною, не услыша ее? В том-то и дело, что, говоря о себе, мне нельзя было умолчать о ней, а между тем... какое же право имел я говорить за нее?

Как бы разгадывая мое замешательство, Кронид вспомнил об Анне.

— Ты найдешь ее на заводе, при раненых.

Выйдя из здания штаба, я в раздумье остановился у своего коня. Отныне весь город был моим, не было, кажется, угла, где меня

не встретили бы с дружескою улыбкою, а я вот не знал, куда мне теперь, где мне... стало бы легче?

Ночь спустилась звездная, ветреная, полная особых, идущих с многолюдных улиц шумов. Я вскочил в седло и дал коню волю. Так поступают застигнутые в пути вьюгою: авось, конь вынесет к жилью, к теплу. Но жилого тепла мне мало, чтобы согреть, успокоить сердце. Только один человек мог помочь мне — Анна! Но при мысли о встрече с нею меня одолевало нечто, близкое к страху. Пока что у меня еще оставалась надежда. Эта встреча с нею могла рассеять последние обманчивые домыслы мои. Я проникался то нестерпимой жалостью к Анне, то негодованием, и у меня темнело в глазах, едва я касался в мыслях того, непереносимого, не вмещающегося в моем сознании, на что она решилась, чтобы... сохранить мне голову.

Еще вчера был я уверен, что только себе, своему мужеству обязан свободой. А оказалось — не вмешайся в мою судьбу Анна, я погиб бы, меня ожидала бы участь Владислава Санто... И пусть бы, пусть бы погиб я... Уж лучше смерть, чем эта, чужая, откупленная позором у палача жизнь... Чужая, не моя жизнь... Кто же позволил Анне брать ответственность за мое будущее, приносить в жертву свое счастье, человеческое свое достоинство? Думала ли она о том, что я не в силах буду принять ее жертву, что я не в состоянии буду после всего случившегося терпеть ее дружбу, любовь?

Я стараюсь представить себя около Анны...

Смогу ли принять ее, несмотря ни на что, склониться перед нею, как у своего прибежища, ни одного слова не выронить о вчерашнем, ни одним взглядом не выразить ей тягостного своего переполоха? А что будет с нею? Неужели и у нее хватит сил схоронить в молчании всё от меня: было и — не было? Возможно! И если в нашем молчании будет все же обман, то здесь мы обманывали бы только себя, по невысказанному уговору между собою, единственно ради презрения к страданиям. А дальше? Удастся ли и дальше нам, живя под одною кровлей, делиться малейшим движением сердца, глядеть друг другу в глаза и не теряться при мысли, что один из нас не выдержит?.. Нет, за себя я не стал бы ручаться. Эта игра в прятки не по мне... При всяком воспоминании о двуногом животном, которому она предала нашу любовь, все во мне будет противиться покою. Сохранив мне жизнь, Анна ограбила ее!

Не замечая окружающего, я выбрался из города в слободу, побывал у монастырской рощи и теперь, возвращаясь, плелся на измученном коне от шоссе к большой слободской улице. Ночь была в разгаре, но слобода продолжала бурлить... В крайней, с забитыми ставнями, избе я узнаю жилье покойного слесаря. Никогда уже дядя Ваня не вернется сюда, не распахнет этой калитки, не переступит зарастающий бурьяном порог... А вот и палисадник с березками, знакомая, освещенная изнутри кумачевая занавеска, унылое поскрипыванье под ветром непрочно привязанной ставни: домик сталевара Зотова... Разве зайти

к старику, повидать Маремьяну Власьевну, расспросить о соседях, пригреться, как бывало, в уюте старой семьи? Но нет, нет! Какой уют, о каком покое может быть речь здесь?.. Я вспоминаю об Игнатке, предавшем всё, во что веровали, что с такою преданностью любили старики Зотовы, и... торопливо проезжаю мимо кумачевой занавески.

Кажется, не было в слободе семьи, где бы к ликованию не примешалось в эти дни то или иное горе: у одних погибли в бою близкие, другие не пришли еще в себя после перенесенных схваток с темным царством Фокина... Фокин! Его нет, а он дает о себе знать, напоминая о незаконченной борьбе. Он пал, старый заводчик, разбиты сегодня последние вооруженные силы его, но это не конец: дыхание смрадного прошлого еще долго будет преследовать нас. И не я ли, Готов, был в ту памятную ночь одним из преследуемых, за кем проклятый этот кашей крался тенью?

Но вот и завод. Покинув коня в темном углу, за сторожевою будкою, я вхожу во двор и, крадучись, избегая людей, направляюсь к конторе.

Коридор жилой половины Фокина едва был освещен, и в этом пахнувшем иодоформом и плесенью сумраке скользили от двери к двери одинокие фигуры женщин в белых, как у больничных сиделок, халатах. Я задержал одну, спросил об Анне Рудаковой.

— Здесь Рудакова... Только она отдыхает! — откликается женщина, вглядываясь в меня с тою внимательностью, какой, видимо, я был обязан интересом здесь к Анне. —

У нас раненые, — поясняет она со вздохом. — Вам очень надо Анну Евграфовну?

— Очень. Скажите — Глотов, Никита...

— Хорошо. Заходите сюда, я посмотрю, не забылась ли она?.. С утра на ногах!

В комнате, похожей на прихожую, я с лихорадочною поспешностью достаю из кармана всё, что захватил с собою в доме адвоката; голубой конверт, бумагу с казенной печатью, скомканную записку. Разгладив листок, подношу его к кронштейну у простенка, читаю:

«Дорогая Анна Георгиевна... Дальнейшая судьба господина Панфилова... в ваших руках... Горю желанием быть подле... Не знаю, сумею ли... Весь ваш Т.-С.».

Строки прыгают, двоятся перед моими глазами. Кое-как вкладываю записку в конверт и вместе с казенной бумагой — приказом генерала — опускаю конверт в карман. Это всё должно быть наготове у меня, как у обвинителя — вещественное доказательство вины обвиняемого, как у кредитора — счета в руках. Чувствовал ли я всю горькую неуместность этих бумажек в предстоящем объяснении с Анною? Чувствовал, сознавал и все же не намеревался отказаться от них.

— Проходите! — кидает мне женщина, появляясь из соседней комнаты.

Следовало постучать в дверь, но я не делаю этого, мне постыло подчиняться установленному порядку, когда нарушен порядок всего моего существования.

Анна стояла спиной к двери, перед тяжелым, в хмурой раме, зеркалом и, подняв обе руки, оправляла прическу. Она улыбалась про

себя, тепло, с доверчивою ласкою к тому, для кого проверяла себя в последнюю минуту у зеркала.

Я неслышно приближаюсь и рядом с отражением исхудавшего, слегка окрашенного румянцем лица вижу себя: пряди волос — торчком из-под рваной фуражки, острые скулы, глухо мерцающие глаза... Колебнувшись, наши отражения смешались, как на поверхности обеспокоенной водной глади.

С возгласом: «Ой, Никита!» — Анна оборачивается ко мне, всё в ее лице озаряется, она закидывает руки мне на плечи, и я слышу глубокий вздох счастливого возбуждения.

— Ну, вот... А я уж опять хоронила тебя... Куда же исчез ты? — шепчет и крепко, жадно, словно пытаюсь захватить, укрыть меня всего, перебирает руками по моим плечам, по спине.

Что-то было в ее порыве неукротимое, угадывалось: здесь она лишь одна из многих, готовых на всё, чтобы сохранить своих близких, любимых, единственных.

И на какой-то момент я поддаюсь ей, я уступаю скрытой своей жажде покоя, тому, что в эти грозные месяцы озаряло меня надеждою... Вдруг исчезают, гаснут все мои злые тревоги, и что-то, огромное, властное, как материнская любовь, как бескорыстная радость дружбы, наполняет меня.

Анна пытается говорить, но я не даю ей, я не хочу слышать ее, я знаю: о чем бы мы ни заговорили, нам не понять, не почувствовать друг друга так, как мы без слов понимали и чувствовали в эту минуту.

— Молчи же, молчи! — шопотом произношу я, будто кто-то мог слышать нас, помещать нам.

И она умолкает. Она так крепко прижимается ко мне, что нельзя не слышать стука ее сердца, вздрагивающих мускулов ее рук, касаний волос ее прически у моего лица... И при этом она молчит... Как будто с нею ничего не произошло... Как будто ей нечего было сказать мне, не о чем было предупредить меня!

Нет, это не ревность, это — возмущение против человека, который был для меня всем и вдруг сделался непереносимо чужим. И как могла она после всего, что произошло с нею, отдаваться своему чувству со мною? За кого же принимала она меня, где предел этой мрачной загадке? Уже того, что я, солдат революции, был сегодня в стороне от товарищей и не мог, как хотел, праздновать с ними нашу победу, достаточно, чтобы насторожиться против нее. И не по ее ли вине я не сумел удержать себя в усадьбе Ноландтов от бессмысленного, разнузданного, постыдного шага? Ну да, постыдного, потому что, какой бы кары ни заслуживал генеральский адъютант, действовал я по личным мотивам, в припадке недостойного малодушия!

Я разнимаю ее руки.

Отступив, она с тревожным недоумением следит за мною... Как хороша она даже теперь, когда в глазах у меня темнеет от возмущения, от неприязни к ней. И я слышу, как глубоко и неровно она дышит, как ее грудь вздымает белую, пригретую телом, ткань.



Выхватив бумаги из кармана, я подношу их ей.

— Может быть, потрудишься объяснить это... все?!

Она заглядывает на голубой листок, потом в бумагу с предписанием генерала — взять арестанта Панфилова заложником.

— А, вот что... — роняет она негромко, и я вижу у ее рта скорбные, незнакомые мне складочки. — Откуда же это у тебя?

Ее вопрос, произнесенный, как мне почудилось, спокойно, лишает меня сдержанности.

— Не будем тратить времени, Анна... Я знаю все!

Она протягивает ко мне руку, я с отворачиванием дергаю плечом, отстраняясь.

— Да, я знаю все... Из первоисточника, из личных показаний господина адъютанта!

Она молчит. Затем едва слышно:

— Его... нашли, арестовали?

— Его... не существует больше! — кидаю я в упор ей. — Мерзавец получил свое!

Снова непродолжительное молчание, и я успеваю заметить: на верхней ее губе проступают росую капельки пота.

— Что же... он пытался бежать? — говорит она и, уловив по выражению моего лица ответ на свой вопрос, продолжает: — Ой, неужели ты... позволил себе...

Я не даю ей закончить.

— А что ты, что ты позволила себе? По каким прописям ты действовала? В каком уставе какой партии ты вычитала, будто тебе...

Дрожащей рукою она запахивает полы

больничного своего халата, укрывая от меня всё, что перед тем не замечала у себя.

— Никита, опомнись! Ты еще не выслушал меня... Ради ли себя я действовала? Твоя жизнь...

Как и следовало ожидать, защищаясь, она заговорила о том, о чем было бы лучше помолчать.

— Моя жизнь?! — подхватываю я. — К черту такую жизнь! Я не хочу ее... Не хочу из твоих рук... из таких рук!

Румянец заливает ей лицо, и только между темными сдвинутыми бровями, у переносья, на складках морщин снежно светится белизна.

— Не хочешь? Из моих... рук?

Она роняет это не то с укором, не то с чувством обреченности. Но если ей нечего больше сказать мне, то, значит, все худшее, о чем я подозревал, было с нею, было!

Как у падающего с высоты, у меня перехватывает дыхание. Мне трудно говорить. Стараясь овладеть собою, я беру со стола графин с водою, наливаю в стакан. Зубы цавкают о стекло, вода стекает мне на подбородок, на лацканы пиджака.

— По крайней мере... как это все... могло случиться? — обращаюсь я к ней и вслед, забыв о своем вопросе, задаю новый: — Откуда ты узнала обо мне, о моем аресте?

Она отвечает не сразу, сама перед тем напомнив мне, что я еще не выслушал ее. Что-то мешало теперь ей, и я чувствую, с каким усилием, преодолевая себя, она говорит:

— Адъютант... доставил мне списки арестованных.

— И ты... открыла ему все?

— Ах, ничего я не открывала!

— Но ради чего же он доверился тебе? Не ради же прекрасных глаз твоих?

— Если хочешь — да... ради!

— А! Понимаю...

Она умоляюще подымает на меня глаза:

— Никита! Верь, что я пережила столько... Столько пережила... — В голосе ее слышатся слезы. — Представь себе, в какой обстановке... среди каких людей я находилась... И потом... каждый день приносил ужас... Я знала об арестах, о расстрелах... Тит Шеповал, Сизов, Абдул-Вадут... Многие! И вдруг в списке я нахожу тебя, твое подпольное имя: Панфилов... Нет, нет!.. Я искала Владислава Санто... Но его не было в списках, а твое имя, твое имя... И ты понимаешь — я не могла... сидеть сложа руки, поджидать, когда с тобою... Нет, этого я не могла!

Она снова тянется ко мне, и на расстоянии я ощущаю знакомый, как при мимолетных наших ласках, трепет сильного ее тела.

— Никита, скажи: разве, зная об опасности, которая угрожала бы мне... разве ты остался бы равнодушным... не принял бы мер... не пожелал бы...

Я понял ее. Вместе с тем понял и то, что ей ничего не остается, кроме как пытаться убедить меня в том, в чем нельзя вообще никого убедить.

— Довольно! — останавливаю я ее. — Знай, что никогда... слышишь? никогда, ни при ка-

ких условиях, я не позволил бы себе вступать в сделку с врагом, торговать собою!

Краска на ее лице меркнет, на впалых щеках залегает тень. Но она не спускает с меня глаз, суровых, пытливых, как бы процеживающих сквозь холодок мысли всё, что было у меня.

— Торговать... собою... — повторяет она глухо. — Ну, знаешь ли... Впрочем, чего же много ждать от тебя? Такие, как ты, даже в бою... будут... охорашиваться... Знаю, ты и революцию хотел бы видеть... в белых перчатках... с улыбкою невинности на устах...

В неожиданных этих ее словах едкая горечь. Она и не думала защищаться, что-либо отрицать, убеждать меня.

От волнения мой голос хрипл, но я поднимаю его до крика, и я тороплюсь опрокинуть на нее все, что накопилось у меня за день. И чем злее, чем неистовей был я, тем ошутимей видел себя потерянным, прибитым, жалким. Но и тут, в скудости, в нищете своей, я винил безотчетно только ее...

Кто поверит, что она, Рудакова, преследовала высокую цель, выполняла какой-то долг... Ложь, выдумка! Она ведь не кинулась спасать одного из многих, стоявших в списках этого гнуса, она спасала меня, человека, которого считала своим, необходимым себе! И вообще пусть не пытается прикрывать себя подвигом... Вздор! Просто в ней заговорил голос дурной крови, выявилась склонность к темной игре.

Я уже не владел собою. В памяти моей внезапно всплывают старые уличные слухи,

подметные письма, недавняя статейка в генеральской газете, — все, что касалось грязных догадок о происхождении Анны.

— Это... это от родителя в тебе! — выкрикиваю я. — По наследству! Дурная кровь Ваньки Каина...

Вздрогнув, как под ударом, она вся никнет, сжимается, губы ее дрожат, на ресницах поблескивают слезы. И затем:

— Эх, ты... — роняет она шопотом. — Эх, ты... ржавчина!

Ощущение острой тоски проходит по моему сердцу.

— Анна! — кидаюсь я к ней. — Что ты наделала?.. Пойми — это же... такая мерзость... И потом... — Жар охватывает мне лицо. — И потом... он мог... Тебе надо подумать о последствиях... принять меры.

Задохнувшись, я касаюсь ее руки, холодной, как лед, она отдергивает руку и с силою, чеканя слово за словом, говорит:

— А знаешь что, Глотов... Иди-ка ты к чортовой матери!

Взглядом, полным решимости, она толкает меня в сторону и, как-то странно сгорбившись, проходит к двери, скрывается в коридоре.

Я остаюсь один, подавленный непоправимостью того, что произошло. Бежать за ней, остановить, еще раз попытаться объяснить ей, как трудно мне... Но к чему? К чему, когда знаю, что самое дорогое мне в жизни смято, отравлено, что беспрестанно буду возвращаться к одному и тому же, невыносимому мне, и что ничего уж не мог я тут: нет в

моем сердце материала, которым можно было бы скрепить, склеить, заделать трещины.

И я остаюсь один. Вероятно, мне следовало держаться с Анною иначе, осмыслить по-иному самое несчастье с нею. Но я не был тем, за кого до сих пор принимал себя... Человеку будущего в моих страданиях многое предстанет диким, бессмысленным. Но... где он, будущий? Его еще нет! Он близок, он идет, но его еще нет среди нас, рядовых смертных. В грязи, в мерзости росли мы, дети страданий, прошлое наше полно загадок... И как тяжело думать сегодня, что пока ты лишь черновой набросок в плане будущего, что многое в тебе будет стерто, перечеркнуто, и сами нынешние терзания твои окажутся всего лишь недосмотром, ошибкою в расчете, неправильно произведенным исчислением!

С упрямством отчаяния я не сделал и шага, чтобы остановить Анну. Ушла, и — пусть!

Осматриваюсь. Огромный, темный, как гроб, письменный стол, грузные кожаные кресла, белесое зарево за окном и — портрет над столом... в багете, с осколками стекла по углам рамы. Вижу седую кочковатую бороду, хрящеватый, приспущенный клювом нос, пепельно тлеющий взор из-под насупленных бровей... Фокин! Он всё еще тут, его еще не успели убрать...

Я возвращаюсь к действительности. «Торопись, Никита! — внушаю себе. — Ты не так богат, чтобы расточать силы и время».

И я поворачиваю к двери.

Странно: во дворе, прямо за крыльцом конторы, светил фонарь, но я с трудом, ощупью,

отыскиваю у забора своего коня, а взобравшись на него, напрягаю все силы, чтобы удержаться в седле... Зарево из окон прокатки, черные трубы у звезд и самые звезды мерно колышутся перед моими глазами, как если бы я был на речных волнах, в бурю. Я цепляюсь руками за конскую гриву, и конь, чувствуя, должно быть, ненадежного седока, тихонько, бережно выносит меня за ворота.

А через несколько дней с армией, вступившей вслед за партизанами в Шугаевск, я отправился в степи, на юг, к новым фронтам. И перед тем как оставить город, еще раз мне довелось видеть Анну.

Шугаевск хоронил павших в бою товарищей, среди них — жертвы контрразведки. Братские могилы были вырыты за слободой, на раздолье, и от самого завода до места погребения мы на руках, по очереди, несли гробы. Их было много. Вознесенные над толпой, ярко-алые под солнцем, они походили на гребни пламени, которым людские эти потоки были охвачены.

Как бы открывая шествие славных мертвых, первым подвигался гроб с останками Владислава Санто. Рассказывали, что мой друг под наведенными винтовками пел свою любимую: «Геть скуку, пусть скучает лошадь». А когда, встревоженный беззаботностью смертника, офицер прокричал: «Молчать в строю, немецкая собака!» — Владислав бросил в ответ полным голосом: «Геть собачий строй! Я — гражданин мира». Тут было нечто от рыцарства класса, принявшего на

себя ответственность за поведение грядущего человека. Владислав бросал вызов врагам, и он скорее разбил бы голову о тюремную стену, чем позволил бы себе дрогнуть под занесенным ударом.

За гробом мадьяра колыхалась на живых волнах кумачевая ладья слесаря Лямина. Одну ночь не осилил дядя Ваня, чтобы видеть торжество тех, в рядах которых шел, не отступая, до последнего часа. Но и уйдя в вечность, он жил среди нас, как жили, радовались и торжествовали вместе с нами, в делах и помыслах наших, многие другие, поваленные в борьбе с врагом: Тит Шеповал, Осип Нахимсон, Гурий Николадзе, вальцовщик Филимонов, слесарек Кузька, Сизов из болтового цеха, Теренин с канавы, дворовый Абдул-Вадут... И только ли они? Я переносюсь мыслями к царскому подполью, вспоминаю листопрокатчика Гладышева, замученного в жандармских застенках... А сколько горячих, отважных сердец смято в беспросветном сумраке, под гнетом бесправия, нищеты, среди волчьих навыков прошлого!

Вижу в толпе семью Зотовых: слесаря Авенира, его сестренку Фросю, младшего смуглолицего Кольку, а с ними и мать их — Маремьяну Власьевну. Старика подле нет, и я знаю, что сталевар остался дома, потрясенный свалившимся на семью позором: Игнатка — родная кровь, плоть от плоти Зотовых — предатель, разоблачен, понес заслуженную кару. И это страшнее Фоме Артемычу пытки, страшнее самой смерти. Ах, что смерть в сравнении с отчаянием отца, породившего



такое чудовище? И не легче ли было старому сталевару собственными руками задушить еще в пеленках змееныша!

Я вглядываюсь в бледное лицо Маремьяны Власьевны, и по тому, как жестко поблескивают ее широко распахнутые глаза, как туго поджаты сухие старческие губы ее, догадываюсь о силе воли женщины, решившейся, не смотря ни на что, выйти сегодня на люди.

И еще была невдалеке от меня женщина, которая привлекала внимание окружающих — Женя Евладова, подруга покойного Шеповала. Вчера лишь возвратившись в город вместе с эшелоном семей и еще не оправившись после родов и тяжкого горя, она вышла проводить в дальнее странствование своих друзей и среди них, незримо, своего Тита. Я глядел на неузнаваемо исхудавшее лицо Женьки и удивлялся особому, гордому, сиянию скорби в темных выпуклых глазах ее. Это было оттого так у нее, что здесь горе возлюбленной мешалось с радостью матери: в слободе, на попечении Елизаветы Широковой, оставила Женька маленького Тита. Но нет! То же самое, как из-за туч сияние, было и на других лицах: у Елены Максимовны, жены Дементьева, у швеи Марфуши Нечевой, у Никифора Дергуна, и даже в лице профессора Шахова, идущего среди заводских людей об-руку со своей Ольгой, улавливал я отблеск того же чувства скорби, смешанного с гордостью... За себя, за свое будущее?

И вот — приближаюсь к Анне. Еще издали узнаю легкую и вместе сильную, порывистую походку, волнистые волосы на обнаженной

голове, под ветром, руку, поддерживающую гроб. Процессия — на повороте к шоссе. Кто-то пытается отстранить, сменить Анну. Она спокойно оборачивается, качает головою, не соглашаясь уступать свое место, и ее невозмутимо ясный, сосредоточенный взор скользит по моему лицу. Мы были в десяти шагах друг от друга, но как далек мне этот ее взор: ничто в нем не дрогнуло, не переменялось, как если бы Анна видела перед собою одного из бесчисленных здесь, в толпе. Ни гнева, ни печали, ни простого любопытства! Она шла у гроба Владислава и до самых могил не отрывалась от него. Не потому ли, что чувствовала себя самой близкой покойнику и самой виноватой перед ним? Ведь это его, Владислава, она искала тогда в списках смертников, а нашла... меня, Глотова!

Но вот и могилы. Военные оркестры, прощальные салюты, хор, наскоро сколоченный Дудою... И все это — стоны труб, гулы ружей, голосистый плач хора — тонуло в зареве погожего солнца. Удивительное светило над Шугаевском солнце! Такого, празднично-траурного, я никогда не видел над родным городом.

Ко мне подходит Дуда, что-то хочет сказать мне, но вглядывается в меня и крутит головою.

— Э, брат, на тебе лица нет... Хочешь — подвезу? У нас, в хоре, таратайка.

Я отказываюсь, но, сделав несколько шагов рядом с Ефимом Лукичом, соглашаюсь принять его предложение:

— Пожалуй, давай таратайку.

Он заботливо усаживает меня с кем-то из духового оркестра, и я успокаиваю его:

— Это... пройдет у меня.

«Это», действительно, прошло, но с тем, чтобы настигнуть меня в походе, вдали от Шугаевска: я свалился всерьез и вылежал в полковом лазарете не один день.

Молодость помогла мне. Не только встал я на ноги, но вскоре смог принять участие и в делах своего полка.

#### XIV

Вскачь, степными табунами, неслись буйные грозные дни вперед. С той поры, как я покинул Шугаевск, не один раз весна разгоралась по родным полям, и уж не Шугаевск только, а всю страну, из конца в конец, прошел я с винтовкой в руках.

Контузия под Кронштадтом забросила меня в Москву, тяга к литературным занятиям — на курсы. Отлежавшись в лазарете, я принялся за учебу и за свою книгу.

Повесть моя о Шугаевске возникла из-за скрытой тоски по нему, и чем дальше шло время, тем прилежней работал я, как бы пытаясь удержать при себе, на страницах своей рукописи, всё, что неудержимо покидало меня, терялось в дали, угасало, вытесняемое новыми волнующими впечатлениями.

Нить за нитью, живые связи мои с земляками обрывались, пока, наконец, даже такие усердные корреспонденты, как сталевар Зотов или Юшка Дуда, умолкли, задетые, очевидно, моими отмалчиваниями.

Правда, изредка в столицу заглядывали, на съезды и конференции, кое-кто из руководителей советской жизни Шугаевска. Но мимо-летные встречи эти, с их сдержанными, почти деловыми беседами, мало что рассеивали в тумане, какой сгущался над моими представлениями о жизни и о людях родного края.

Я знал, что старые шугаевские работники, возвратившись с фронтов, снова заняли свои места. Не было товарища, о котором что-нибудь я не слышал бы. Однако все это касалось работы, порою лишь обозначений должностей, обязанностей, а жизнь людей, а их успехи, оплошности, радости и печали доходили ко мне слабыми отзвуками, намеками, полутенями.

Несколько ближе, теплее рисовал я себе семью Зотовых, и потому так, надо полагать, что старый сталевар касался в своих письмах житейских подробностей. По крайней мере, мне было ясно: горе, какое постигло семью из-за Игнатки, предателя, изживалось, и тут Зотовы обязаны были своим жгучим заботам о заводе.

Какое-то время завод стоял: ни подвоза сырья, ни работников, — разбрелись в поисках хлебных мест, — и вот Зотовы, первые, начали борьбу за восстановление завода. Вся семья пошла на завод, даже Маремьяна Власьевна, несмотря на преклонный возраст, вернулась в свою листопрокатку.

Не раз меня одолевало желание бросить курсы, рукописи, новые свои связи и махнуть в родные места... В конце концов работа над книгою также нуждалась в поездке на ро-

дину. Более того: письма сталевара о первых успехах на заводе, о молодежи, творящей там чудеса, о боях за каждый вагон угля, за всякую вновь пущенную печь так захватывали, в такой степени трогали меня, что уже не на шутку я задумывался над возможностью сочетания работы токаря с работою литературной.

«Если токарю, — думал я, — можно и должно быть революционером, то почему писателю нельзя оставаться токарем, и не в слиянии ли этих профессий — путь к победе, какой нам еще не доводилось одерживать?»

То был вопрос, заслуживающий серьезного внимания, но Глотов Никита уже не отличался прежнюю порывистостью в своих решениях. К тому же у него была работа над рукописью, которой распоряжался он один и которая не требовала, как там, у станка, проверки: все ли вокруг на месте, достаточно ли исправен резец и не износился ли у машины приводной ремень? И выходило само собою так, что, думая о своем будущем, я трезвел, принимая безотчетно за трезвость, за рассудительность обыкновенную осторожность усталого человека: уже мне под тридцать, и на висках у меня следы первых заморозков.

Было и еще нечто, что удерживало меня на курсах и у моей рукописи: в Шугаевске ожидала меня встреча с моим прошлым, а в нем не все радовало меня... Что это — малодушие? Нет, скорее подозрительность: еще я не владел собою настолько, чтобы раз и навсегда отказаться от счастья, однажды потерянного. В Шугаевске оставались люди, без

которых я не представлял себе полноты жизни, но там была и та, при мысли о близости которой на сердце кружила у меня метелица.

Когда-нибудь мы научимся и в том, что зовется любовью, ценить действительность, как ценим ее в нашей борьбе за лучшее общество. А пока... кто смолоду не отдавался своевольной игре любви с ее дикой страстью к домыслам, с неистребимым ее желанием видеть в любимом человеке, как в зеркале, свой собственный мир, свое собственное представление о совершенстве и счастье? И не из этого ли нашего самообмана происходят обычно ошибки, разочарование, усталость?

Казалось бы, вся суровая обстановка моего прошлого должна была питать во мне отвращение к бесцельной игре воображения, но вот еще в первые, ранние встречи с Анною я принялся наделять ее качествами собственного изобретения. И удивительно ли, что одежды, какие вытканы были мною для Анны, трещали на ней по швам? В этом случае я мало чем отличался от беззаботного портного, который, вместо того, чтобы снять со своего заказчика мерку, работал по воле фантазии и еще смел досадовать, когда изделие его оказывалось не по росту живому человеку.

Чувствовала ли Анна оскорбительность этих моих хлопот вокруг нее? Думаю, что да, чувствовала. Иначе не было бы и того, что было у нас, в нашей любви, не случилось бы, возможно, и суровой развязки... Так или иначе, но теперь, вдали от Шугаевска, мне все чаще и чаще западала в голову мысль, что

никогда я и не любил по-настоящему Анну, что любил, хотел любить я в ней лишь себя, свое «я», свой собственный мир.

«Ну да, — говорил я себе, раздумывая о прошлом: — ты ошибался, Никита, твое чувство вовсе не таково, чтобы слишком отдаваться печали».

И все же печаль не покидала меня, печаль и раздражение, обида... Вот был я контужен, лежал в лазарете, страдал, и об этом знали в Шугаевске, а значит, знала и Анна. Но где была она? Даже не поинтересовалась исходом моей болезни... И потом, я писал ей, она молчала. Год назад, вместе с первой книжонкой своих рассказов, я послал ей пространное и, как мне казалось, убедительное объяснение нашей безысходной размолвки. Она откликнулась, но лучше бы промолчала, как раньше. Она закинула мне открытку, в которой писала:

«Благодарю за книгу и за готовность не напоминать о прошлом, хотя все послание состоит из напоминаний. Я живу настоящим и рада, что не имею возможности заниматься толчением воды в ступе».

Эта лаконичность отклика и бесцеремонность, с какою Анна приравнивала мое большое письмо к «толчению воды», самое это выражение, отдающее ничем не объяснимым презрением, возмутили меня, и опять мне подумалось, что Анна не та, за кого я принимал ее. А ведь столько довелось вынести из-за нее! «Ну, и довольно!» — решил я тогда, захлопывая, как мне представлялось, навсегда двери в прошлое.

Случайная встреча с профессором Шаховым, прибывшим в столицу, чтобы перевезти в Шугаевск свою библиотеку, имела последствием то, что я обзавелся отличною комнатой в Москве. Этот угол, предоставленный мне ученым земляком, еще пуще привязал меня к работе.

Но именно работа и не позволяла мне забыть о Шугаевске нынешнего дня, о Шугаевске, в котором жили друзья мои, а среди них — Анна. Волей-неволей я возвращался к ней, и не всегда как автор своей повести. Обещав себе и Анне не напоминать о прошлом, я все свое письмо к ней посвятил прошлому и теперь, решившись «захлопнуть двери», занимался тем, что тайком крался к дверям прошлого и вслушивался, вслушивался.

Нет, неправда, будто Анна безразлична мне. Не могло быть этого хотя бы потому, что слишком много вложил я в чужую жизнь себя, своей крови, лучших своих помыслов.

Наступила весна 1923 года. Я выпустил второй сборник рассказов, и моя книга о Шугаевске подходила к концу. Однако многое этой работе недоставало, я не знал вполне ни конца истории белого господства на заводе, ни того, что случилось с рядом лиц, в повести мною очерченных. Многие в шугаевской жизни не досмотрел я, а иное позабыл вовсе, окунувшись в свою работу, распоряжаясь вещами, выключенными из потока живых наблюдений, а потому неизбежно обреченными ржавчине.

«Ржавчина»... Это кинутое мне когда-то



Анною слово назойливо преследовало меня, и особенно его зловещий смысл чувствовал я при неудачах в своих писаниях. Пора было всерьез подумать если не о возвращении в Шугаевск, то по крайней мере об упрочении связей с ним.

И тут как раз мною было получено письмо от сталевара Зотова с призывом немедленно явиться на родину, вспомнить о «родоначальной» профессии, заглянуть в свою совесть: понапрасну, что ли, обучал когда-то завод сопатого огольца?! А вслед за этим горячим и трогательным в своем простодушии письмом — еще более убедительная корреспонденция на страницах газеты из Шугаевска:

«Завод под парусами! Две тысячи пятьсот лучших бойцов рабочего класса ведут борьбу за полное восстановление завода... Стране нужен металл, страна изголодалась по металлу!»

Все вокруг меня — на курсах, в кружках, на собраниях — как бы вылиняло, потеряло свой вкус, и сам труд мой над рукописью казался мне уже невозможным.

И я решил.

На телеграмму, посланную мною в адрес старика Зотова, пришел ответ без подписи, скупой, но повелительный:

«Бьемся со всех сил болтовой после пожара ремонтируем конце недели решающее собрание торопись».

А через день с тою же экономией слов постучалась ко мне вторая депеша, на этот раз за подписью председателя завкома Башилова: мне предлагалось протолкнуть в ВСНХ

сметы, лимиты, еще что-то (пропуск, неразборчиво!).

Давно неиспытанное волнение охватило меня, я спешу выполнить поручение завода, готовлюсь к отъезду, живу в припрыжку. Предчувствуя знакомую тревогу, как на фронте перед боем, явно хмелея, рву с курсами, разрешаю себе всяческие вольности. Так, например, неожиданно я пригласил с собою в Шугаевск первую встречную, какую-то курьершу: почему бы-де ей, как и мне, литературному работнику, не сменить на замечательный труд у заводского станка беготню с пакетами?

Новая знакомая без долгих колебаний принимает мое предложение: ехать — так ехать! Тем более, что подвальный угол в Москве вместе с окладом курьерши не устраивал гражданку Олейникову с ее... малышом. Для начала она скрыла от меня, что у нее есть ребенок, но, когда я узнал о нем, мне уже невозможно было отказать ей, изменить своему слову. Да и то сказать: как никогда, Шугаевск нуждался в рабочих руках, а моя знакомая еще молода, крепка... Лишь бы этот ее малыш оказался... единственным у нее!

Итак, едем! Рабочий мой стол опустошен, стены комнаты голы, блеск книжных тиснений в шкафах надолго усмирен, рукопись — в чемодане... Какие-нибудь двое суток отделяют меня от того часа, когда вновь войду в жизнь завода, всмотрюсь привычно в его людей и вместе с ними встану под паруса этих дней. Тем самым разрешался вопрос и о моей повести: одна ее часть набросана, другую... пусть пишет завод.

Солнце майского утра заглядывает в окна моей комнаты. Покидаемая, она теряет свою осмысленность и привлекательность. В разливах улиц прибоем шумит за окнами огромный город. Волнение мое растет, и оно должно быть понятно каждому... Как-то встретит меня Шугаевск, что-то ожидает меня там?

Я охотно представляю себе крепкую руку Кронида Дементьева на моем плече, ласковый прищур из-под рогатых бровей сталевара Зотова, хохоток Юшки Дуды и многое другое, что сулила мне встреча с товарищами. Но я упорно отмахиваюсь от всего того, что связано было у меня с Анною.

Сколько пережито событий! Я дрался в окопах, рисковал не раз головою, испытывал ни с чем не сравнимое счастье победителя, а это, незабываемое, лежало в сознании, как плесень на беспризорном инструменте, как недуг, подброшенный нам в наследство искалеченными нашими отцами. Самое тяжкое в жизни — это когда мы сами становимся оружием в руках врагов, мы сами, наши навыки и страсти. С чем можно сравнить бесшумную силу мысли, что может быть стремительней разящих ударов ее? Но и тут не всегда победа оставалась за нами.

Телефонный звонок оглушает пустоту моих стен. Я подхожу к аппарату. Саша Олейникова, случайная моя знакомая, курьерша, меняющая портфель на заводской станок, беспокоится: она на вокзале и не знает, чем объяснить отсутствие своего спутника. Она

говорит, что до отхода поезда осталось всего сорок минут.

Сорок минут... Чучело! Полководцы выигрывали в этот срок сражения.

— Еду! — посылаю я в трубку. — До скорого свидания, — произношу я чуть погодя, оборачиваясь к рабочему своему столу.

Голос мой, неуверенный, выдает меня. «До скорого ли?» Конечно, я не собирался покидать перо, завод должен лишь закалить его, но... сюда, в гостеприимный московский угол, я уже едва ли когда-нибудь вернусь.

Старый дворник, работавший еще у Шахова, принимает у меня ключ от комнаты.

— Кланяйтесь там, — лепечет старик и улыбается вслед мне. — Барину, барышне...

Олейникову я нахожу в вагоне. Подле нее — объемистый узел добра и малыш, окутанный шалью. Он дико посматривает в мою сторону, не желает подать мне руки.

— Весь в родителя! — замечает мать и вслед успокаивает меня: — Привыкнет!

Она посылает мне улыбку и отворачивается, поймав пристальный взгляд мой: опять, как и в первую случайную нашу встречу, что-то отдаленно знакомое чудится мне в этой женщине. Но я возбужден отъездом, мне не до курьерши... Самое нудное, что преждевременно убивало нас в прошлом, это одичалое сиденье на одном месте. В обществе, которое растили, будем странствовать, как наша планета. Все дело в том, чтобы люди и вещи не знали мертвого покоя!

Поезд трогается, как бы подкашивая стены вокзала, смахивая в сторону толпу прово-

жатых. Прощай, Москва! Не так скоро мы увидим тебя, но ты и на расстоянии будешь владеть нами: где бы мы ни были, голос твой не умолкнет для нас.

Олейникова заглядывает мне в лицо, хочет что-то сказать, раздумывает и молча извлекает из своего узла кусок черного хлеба. Это — для сына. Глаза ее увлажняются, она словно облизывает ими своего малыша.

— Трудно без отца расти, — говорит курьерша, намекая на свое положение покинутой женщины. — Наша сестра вечно в слезах, а им, бессердечным, одни удовольствия.

Поезд вырывается под открытое небо, кружит каруселью поля, вычерчивает на бледном небосклоне нотные линии телеграфа. Я заглядываю в окно: из-за сизых клубов дыма паровоз навстречу мне выбрасывает телеграфные столбы, дорожную будку, зеленые вземы насыпи. Иногда за насыпью выплывают, как из-под земли, новостройки, леса их похожи на медовые соты.

— Чинить, строить начинают шибко, а жизнь не легче, — жалуется, поглядывая через мое плечо в окно, курьерша. — Уждь во все протянем ноги.

Ее беспокоят эти, в лесах, здания. Ей думается, что советская власть расточительна и забывает о ее, Саши Олейниковой, участи. Она никак не может увязать своего будущего с тем, что разворачивается на ее глазах, и ей трудно, почти невозможно втолковать: предстоят большие перемены и — тем скорее, чем успешнее будут возводиться медовые соты вокруг.

Поезд набирает скорость. Кирпичный завод, фабричка, снова стены в лесах... Плещут звонко трудовые шумы, и у меня на сердце, как в ту пору, когда шел я на юг, к морю, вместе с полками. Что-то общее видится мне во всполошном оживлении того времени и теперешней суете на встречных стройках. Высунувшись за окно, глотаю хлесткие потоки воздуха, охалками ловлю гулы людской тревоги вокруг. Война, война продолжается! — думаю я. — Здесь также будут свои победы и свои жертвы, новые понадобятся армии, в действие должны быть вовлечены все живые резервы страны.

Олейникова возится с ребенком, он чем-то обеспокоен, в темных матовых глазах его слезы, на щеках — чужая, не материнская, белизна.

— Через пяток лет мы устроим своего парня в фабзавуч, — говорю я женщине, усаживаясь на свое место. — Из него выйдет отличный прокатчик... Впрочем, не обязательно! Он может быть и агрономом, и математиком... Писателем, наконец, — менее уверенно добавляю я.

И вспоминаю о рукописи в своем чемодане: интересно, вынесет ли моя работа испытание перед лицом иных дней, в шумах самой жизни? Токарь-то вынесет. Но вместе они — токарь и писатель... едва ли.

Привычное раздумье овладевает мною. Вот я снова буду в Шугаевске, встану, возможно, за свой токарный станок, но.. того, прежнего Глотова, уже нет: и обликом он не тот, и навыками чувствовать, размышлять

иной. Даже язык мой, манера излагать мысли ничем не напоминают Никиту, когда-то обтачивавшего вальцы у Фокина. Значит ли это, однако, что человек нашего будущего переключается со мною?..

Незаметно подкрадываются сумерки, поезд бежит, как прежде, но — то ли благодаря угасанию воздуха за окном, то ли из-за пассажирской моей усталости — мне чудится: вагон потяжелел, колеса стучат неохотно, а когда закрываю глаза, ощущаю падающее движение в обратную сторону — назад, назад...

Сквозь дрему тянусь мыслями к заводу, оглядываю его цехи, печи, станки, краны, вдыхаю терпкий дух железа по-над заборами. Улица, дом с палисадником из берез, и кто-то, отечески близкий, свой каждую бороздку на челе, встречает меня. «Фома Артемыч, — отдельно, по складам, произношу я, — вот и мы... Доволен?»

Я улыбаюсь, и не без причины, так как знаю, что скажет мне сталевар. «Всем конь вышел, да как-то еще повезет?» — и подмигнет из-под косматой брови. Неутомим он, Зотов, в присловицах, в поговорках своих. Деды, прадеды изрекают его устами истины, определяют взгляды на жизнь, на людей. Слушая Фому Артемыча, кажется, будто поколения его класса беседуют с вами... А сына-то, Игнатку-то своего, проморгал!

Ночь дорожная вся в стуках, в скрипах, и потом — неожиданные пробуждения на остановках, когда внезапно слышишь хлопанье двери, сиплый чей-то зевок по соседству, а в теле косную, ноющую неподвижность.

— Вставайте! — толкает меня в плечо женщина. — Чайку добыла.

Совсем светло, и на откидном столике, у изголовья, дзинькая, покачивается горячий, в синем паре, чайник.

Опять солнечный коловорот полей за окнами, прохлада, чистота в посвежевшем за ночь небе. До Шугаевска еще не близко. Длится погожий день, под удаленными его высотами поезд наш кажется игрушечным. Знойно, душно, и моя Олейникова начинает изнемогать. Быть может, она уже раскаивается, зачем послушала меня? И где он, этот Шугаевск?

Но вот, перед закатом солнца, я успокаиваю спутницу:

— Скоро!

Как и шесть лет назад, когда возвращался я из ссылки, навстречу поезду плывут, только с другой стороны, облупленные главы монастыря, за ними — черепичные кровли у рощи, позже — заводские трубы.

Трубы дымятся, и на расстоянии я угадываю могучее содрогание темных, изъеденных гарью стен завода.

— Приехали! — кидаю я спутнице. — Теперь держись.

Говорю это не только ей: мне ведь тоже предстоят встречи, более трудные после долгой разлуки, чем самая непривычная ноша.

— Ничего! — откликается Олейникова. — Как-нибудь...

Голоса ее не слышно, мы — у заводских стен. Каменная, в скрежете, в лязгах, поступь завода не отстает от бега поезда... Потом все



это — звоны, скрежет, грохот — уносится в сторону.

Мы подкатываем к вокзалу, и в эту минуту я узнаю в своей спутнице кого-то, кто, несомненно, уже встречался мне в прошлом... Но где, когда, при каких обстоятельствах?

Она стояла у скамьи, в проходе, закутавшись в огромную, как конская попона, шаль, вперив в меня свои густые, цвета канифоли, глаза. И я узнаю ее по этим налитым тревогой глазам, узнаю шаль ее, похожую на попону. А главное, что вдруг как бы перенесло меня в прошлое и раскрыло мне эту женщину, — было мое собственное состояние тревоги. И как там, в прошлом, так и теперь впечатление от перепуганной, закутанной в шаль женщины связано было с Анною, с ожидаемой теперь встречею.

— Не ты ли была тогда в усадьбе у адвоката... — порывисто придвинулся я к Олейниковой. И по тому, с каким испугом она отшатнулась от меня, я понял, что и она вся во власти воспоминаний о нашей встрече... осенью девятнадцатого года.

Да, несомненно, это была она, работница адвоката, единственное живое существо, которое я застал тогда, при бегстве белых, в покинутом доме Ноландтов.

Беспомощно присев на скамью, она побелевшими губами пытается произнести что-то и не может: воспоминание о пережитом когда-то страхе сковало ей язык.

— Ладно, идем! — кидаю я, видя, что в вагоне остались мы одни.

Она покорно тащит к выходу своего ребенка и узел.

— Вот видишь, — говорю я, помогая курьерше спуститься на перрон, — не сказалась, что знаешь Шугаевск, а между тем жила в нем...

Она молча и смачно глотает слезы, как люди труда очередной кусок своего хлеба, а я хмурюсь, тяжело обеспокоенный.

Чутьем поняв, что мне, как и ей, неприятно вспоминать о далеких днях, Олейникова ободряется.

— А я гляжу, гляжу на вас: «ой, этот! ой, нет?» — а вспомнить не умею... В Москву-то, — внезапно переходит она на прежний доверчивый тон, — хозяйева меня устроили, Ноландты... Через профессора Шахова... У дворника профессорского я и пробивалась, в одном с вами дворе...

Мы направляемся внутрь вокзала, оттуда к наружному подъезду. Как и в давние времена, у подъезда гроздь пролеток и те же, давние, воскрешенные новой экономической политикой, фигуры в долгополых кафтанах.

— Эй, подвезем!

Я усаживаю в одну из пролеток мою спутницу с ребенком и устраиваюсь сам со своим чемоданом рядом. Спрашиваю:

— Куда вас?

Сквозь новый взрыв слез и всхлипываний Олейникова называет улицу на Проломах.

— Больше мне некуда с дитём-то, — подымает она голос, когда пролетка тронулась. — Авось, не выгонят... Я про хозяйев моих... На Проломах нынче Ноландты... Дача-то загородная отобрана у них.

Помолчав, она продолжает:

— У ребенка моего отец здесь... на заводе... В инженерах служит... Вот я и решилась с вами... Авось, думаю, совесть у человека заговорит. Как-никак, хоть и незаконное, а все же свое, родное дитё.

Я стараюсь вникнуть в ее слова об инженере, угадывая здесь какую-то связь с заводом, однако нахлынувшие воспоминания тянут к иному, неотвязному: все та же сцена в усадьбе адвоката, пустой дом, эта женщина, указывающая мне комнату Анны, незнакомый человек во дворе, человек с техническим значком на фуражке, с отвратительными, мертвыми, без блеска, глазами, и потом... Чорт возьми, не заехать ли мне вместе с Олейниковой к Ноландтам, на Проломы, чтобы еще раз заглянуть в сумерки минувшего, в то тяжкое, что смяло мое счастье? Нет, нет! Этого еще не доставало... Что мог дать мне адвокат? Вернее всего, он даже не подозревает об истории, разыгравшейся в его доме. И не будет ли всякая моя попытка заглянуть в далекие дни посягательством на то, что касалось Анны, только ее одной? «Нет и нет! — твердо говорю себе. — Ты явился сюда с определенными намерениями, а потому... довольно, Никита! Вспомни, что тебе уже под тридцать и на висках твоих изморозь... Пора вести себя прилично».

Я встряхиваюсь, с пристальным любопытством оглядываю встречные дома, заборы, вывески с незнакомыми мне именами торговцев-частников. Вслед это все улетучивается из моего сознания, я поворачиваю голову к Олей-

никовой... Вот сидит плечом к плечу со мною и лепечет о вещах, до которых мне нет дела. Между тем она была своею у Ноландтов, знала многое о людях, посещавших дачу, знала и ее, «племянницу» адвоката, услужала ей, входила запросто в ее комнату, сопровождала ее, быть может, на прогулках.

Первый же мой вопрос о «племяннице» настораживает женщину, она умолкает, косится на меня. Тогда, сохраняя спокойствие, я задаю новые вопросы, и неожиданно мою спутницу охватывает возбуждение. Бледная, с глазами, переполненными слезами, она начинает делиться со мною пережитыми когда-то страхами... Что было? Пушечная гроза вдали, над городом, бегство хозяев из усадьбы, внезапное появление гостя, офицера, приятеля сыновей адвоката, и эта... сцена в парке между офицером и племянницей хозяев.

— Ох, что́ было, что́ было!

Одолевая шум, она выкрикивает, а я молчу, ухватив мою соседку за руку. Ловлю каждое ее слово, стараюсь угадать по выражению ее лица все, о чем она не досказывает. Но, кажется, она и не думала прятать что-либо от меня, незаметно погружаясь в работу ожившей памяти: в то необычное, что так потрясло ее жутким своим смыслом. Еще бы! В городе война, дом пуст, Аркадий Львович, инженер, скрылся куда-то, а эти двое разгуливают по саду... И потом вдруг барышня, племянница, бежит из беседки к дому, бледная, как мертвец, а руки у нее... вот ужас! — руки в крови.

Олейникова, еще когда этот офицер явился, почуяла недоброе. И за ним — вслед, по пя-

там, а он оглянулся: прочь, мол, отсюда! Она и скрылась... Заросли были там, у беседки... Голосов из укрытия не разобрать, а только видно было: сам не свой офицерик.

И вот видит Олейникова: бежит племянница от беседки во двор, со двора наружу, в поле, а того, военного, в помине нет: то ли в беседке остался, то ли, по солдатской ухватке, пустошью ушел, прямо через загородь. Все же заглянула она в беседку, а там... господи, господи! — военный этот без движения, и голову подогнул, и голова у него черная от крови... Ну, отыскала Олейникова хозяйского сына, инженера, Аркадия Львовича: с холмочка на дорогу ходил он глядеть — что на дороге творилось. Вдвоем они перенесли военного человека во двор, в избу, подальше от чужих глаз. Всю ночь гостенек-то без памяти метался, думалось, так, не в себе, и помрет... Ан нет! Смерть, она своего часа ждет, кому что суждено. Барышня-то камнем его, в висок, и камень-то так себе, вовсе даже пустячный — сколок с приступка, у беседки приступочек... Только, видно, с сердцем махнула, он и омертвел... Что под руку попало ей, тем и махнула, спасаючись... Каждой честь-то своя дорога, а тот, видно, на силу рассчитывал, и не впервой, может, такое ему дело... Вот и наскочил! Наутро военному бежать бы, а бежать не на чем: ординарец с конями по переполоху в степь подался: ночь во двор, он со двора...

— А днем, гляжу, опять военные, только не того склада... — с плаксивой улыбкою подымают на меня глаза Олейникова. — Я, как

тогда увидела вас, так враз и подумала: быть беде! Оно и вышло по-моему... От суда божьего никому, видно, не уйти!..

Она говорит еще что-то, но я уже не слушаю ее и опоминаюсь, когда пролетка останавливается у ворот, а моя спутница, соскочив на мостовую, тянет у меня из-под ног свой узел. Молчание мое вызывает у нее снова испуг, все черты широкого веснушчатого лица ее тяжелеют, становятся неподвижными.

— Иди, иди! — кидаю я ей.

Мы остаемся одни — я и человек на козлах.

— Куда теперь? — взмахнув вожжами, обращается ко мне извозчик.

В самом деле: куда же теперь? Было у меня намерение остановиться в советском общежитии, у кого-нибудь из своих, — это близко, с угла на угол. Но знаю, что в этом случае оказался бы в окружении многих, а мне необходимо побыть одному. То, о чем только что услышал я, настолько было значительно, в такой степени ошеломило меня, что мне представлялось невозможным сейчас быть среди людей, слушать их, отвечать на их вопросы, строить вместе с ними планы на завтрашний день. К тому же я мог встретиться с Анною!

— Езжай дальше... — приказываю извозчику и перестаю следить, как и куда мы двигаемся.

Услыша рассказ Олейниковой, я должен был бы почувствовать облегчение, радость за себя, за Анну. Но ничего такого со мной не случилось. Я был ошеломлен! Точно кто-то, безучастный ко мне, подкрался и нанес мне

удар из шалости, играючи, ради того только, чтобы поглядеть, что будет. Так нередко в детстве мой батька, купеческий приказчик, отдавав сивухи, замахивался на меня и затем, опустив кулак, принимался хохотать, — хохотал при виде судорог ужаса на моем лице. И, помнится, за эти жестокие шутки я проникался к родителю неприязнью более острой, чем когда меня в самом деле били.

Но кто же, кто «замахнулся» на меня в этот раз? Кто столько лет оставлял меня в неведении относительно действительного события? Кому надо было мое, так меня терзавшее, заблуждение?

Анна! Я стараюсь понять ее, оправдать, осмыслить ее переживания... Да, несомненно, держал я тогда себя, в последнюю встречу нашу, дико, помраченно. Да, я жестоко оскорбил ее, я не пощадил самой памяти ее матери, я ополчился на нее заодно с нашими врагами... Но ведь должна же была и она понять меня, мою боль, мое отчаяние... Тем более, что весь я был тогда перед нею, и она одна могла открыть глаза мне, рассеять мои сомнения.

Неужели только из-за чувства потрясенного самолюбия решилаась она отпустить меня с моими тягчайшими заблуждениями? И затем упорно молчать, не пытаться даже «оправдать» себя, чтобы... помочь мне! Нет, тут что-то не то... Или всё, о чем сейчас слышал я от Олейниковой, выдумка, игра простодушного воображения? Но к чему бы ей, далекой всем нам, заниматься домыслами, небезопасными для нее самой? Нет, Олейникова гово-

рила правду, это чувствовалось в каждом ее слове. Я убежден, что именно так, как она рассказывала, все и происходило, что иначе и не могло быть у Анны Рудаковой. Но, в таком случае, что же помешало Анне из обвиняемой стать судьей? Быть может, этого-то она и не хотела? Спасши мне жизнь, она могла располагать ею... А разве моя жизнь не имела своих подлинных хозяев, была беспризорной?

Преследуемый этими мыслями (не то, все не то!), я не замечал, куда тащил меня извозчик и того, с какою подозрительностью поглядывал он на меня.. Не принимал ли человек этот своего седока за сумасшедшего? Я и в самом деле не мог ручаться за достаточную трезвость своего поведения, мои мысли текли беспорядочно, скачками. Рассказ Олейниковой произвел в моем сознании нечто вроде обвала. Шутка сказать — ведь все, из-за чего я длительно страдал, не существовало в действительности, и эти мои страдания едва ли могли даже рассчитывать на внимание... В Шугаевск я отправился не только с тем, чтобы найти здесь приложение мастерству писателя и токаря по металлу — вместе, но и... еще раз встретить Анну. Надо ли скрывать дальше: у меня была уверенность, что, какие бы меня ни ожидали радости в личной жизни, та радость, которую я потерял, потеряв Анну, ни с чем не сравнима. И была скрытая надежда.

Счастье! Я ехал за счастьем, но не ясно ли, что теперь-то оно дальше от меня, чем когда-либо. Анна потеряна для меня, и я ли-



шен возможности искать потерянное, я не смогу даже заговорить с Анной о прошлом. Я должен держать себя с нею так, как если бы между нами никогда ничего и не было, ничего, никакой близости! А между тем вся жизнь впереди у меня. Того, что я мог до сих пор, мало, чрезвычайно мало! И если мне пришлось бы вновь кинуть вызов врагам, я сказал бы: вот шли мы на вас с оружием в руках и не щадили жизни, добиваясь вашей гибели... Но этого мало, еще мало! Мы должны вырвать с корнем самую память о вас. Чтобы ничто уже не перекликалось в нашем сердце с царством ваших понятий, желаний, навыков.

Да, я потерял Анну.. Что же, ничего не поделаешь, тут ничего не поделаешь... Милый Владислав, как давно не вспоминал я о тебе!

Я горько хмыкаю себе под нос, мой извозчик останавливает коня. Кажется, он потерял терпение, наблюдая мое безразличие к окружающему, не зная до сих пор конечной цели нашего пути. Каждый из сидящих на козлах должен знать направление и адрес, улицу и номер дома. Иначе терялся смысл всех усилий, вываливались из рук вожжи.

— Погоняй, погоняй,— кричу я извозчику, видя, что наша пролетка въезжает на большой мост через Шугаевку.

Грохоча по деревянному настилу, мчит мимо, в сторону слободы, грузовая машина. В кузове, поверх горки железной рухляди, развалился плечистый парень в брезентовом балахоне. «Заводу!» — соображаю я, и вдруг у меня возникает решение: ехать, куда не

заворачивая, на завод! Скину там, в конторе, свой чемодан и — к людям. Довольно, Никита, колобродить, ты ведь не для забавы прибыл сюда! Следя за грузовой машиной, я охватываю взглядом знакомые очертания берега: песчань, одинокие ветлы, черепичные кровли вдали, а влево, над самым обрывом, к алому вечереющему небу простерты заводские трубы. Все, как было три года назад и как было еще раньше, с самого детства: высятся великаны, и нет им дела до того, как ведут себя нервные волокна у Никиты Глотова. Завод — траншеи извечной борьбы нашей за власть над вселенной — только это и есть, только здесь и есть бессмертная человеческая воля.

Неудовлетворенность собою — не плохое явление, и... кто не мечтал в юности видеть себя совершенным? Но юность переходит в зрелый возраст, а с тем вместе наше искание совершенства должно стать такою же упорной и трезвой работой, какой мы отличались у себя в цехе, за станком. И нельзя жить надеждами на чудо там, где все, до самого последнего вашего шага, свершается в сочетании вашей познающей воли — с железным ходом вещей.

Когда-то, бегая на завод, я мечтал освободиться от него, переменить самый труд, потому что труд мой у Фокина доставлял мне чаще страдания, чем радость. Но вот люди организуют свой труд так, что он делается для них только радостью. Я рос в обществе, где одни обречены были бездумному отношению к нравственному своему облику, другие,

напротив, ухитрялись начисто обособить мораль от стремления человека к счастью и лучшему, что человек имел, превратили в предмет своего мышления — ради мышления. Близится время, когда счастье станет правом каждого. Тогда не будет таких помраченных человеческих явлений, как Фокин с его Ваньками-Каинами. Савиными, Игнатками, адъютантами Тышко-Судковскими... Не будет и тех, кто, подобно Ноландам, всю свою жизнь волочил за сильными мира сего... пухом, шелухой, мусором.

— Пухом, мусором! — вслух, с ожесточением, вторю я своим мыслям, и вот человек на козлах оборачивается ко мне.

— Давно не убирали, оттого и мусор... — кричит он сердито. — Коммунхоз-то, знай, налоги дерет, а чтоб за улицей присмотреть — на это его нету!.. Куда едем-то? — добавляет, натягивая вожжи.

Пролетка подымается в гору, к слободе.

— Держи к заводу! — кидаю я и опять забываю об извозчике, прислушиваясь к чувству легкости, света, отдыха, которое незаметно, вопреки смятению в мыслях, овладевает мною.

Анна! Что бы со мною ни было, в каком бы печальном положении я ни оказывался теперь, когда знал правду, я чувствовал, что тяжесть сваливается с моего сердца: я потерял счастье, зато... нашел Анну. Не больше ли это, чем самое большое счастье?

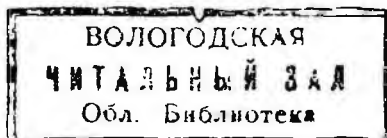
Так вот дело какое: оказывается, для меня важно, очень важно, что и в этой горькой истории прошлого Анна осталась собою, тем,

кого я любил, уважал, ценил и кому, любя, цenia, уважая, тайно, невысказанно, завидовал когда-то.

Мы подъезжаем к воротам завода, и завод встречает нас гудком такой могучей, уверенной в себе силы, с какой сравниться мог разве только рев пропеллера в небе. Вслушиваясь, я говорю: «В руки твои предаю себя!» — и неспеша достаю со дна пролетки свой чемодан: смена белья, фуфайка, несколько книг и рукопись.

Белье и фуфайку буду носить я, рукопись мою пусть продолжает завод, тысячерукий, зоркий, вечно рвущийся вперед... Знаю: впереди события, перед которыми бледнеет всё пережитое, и если уж говорить о победах в нашем наступлении, то не раньше часа, когда мы, шугаевцы, пробудившись однажды утром, не узнаем ни своего родного города, ни завода, ни себя самих. Толпы участвуют в сооружении большого здания, но оно открывается нам во всей своей значимости лишь после того, как вбит последний гвоздь, и они, работники, смогут взглянуть на результаты своего труда глазами бескорыстного странника.

---



Издательство просит читателя дать отзыв как о содержании книги, так и об оформлении ее, указав свой точный адрес, профессию и возраст.

Библиотечных работников изд-во просит организовать учет спроса на книгу и сбор читательских отзывов.

Все материалы направлять по адресу: Москва, Б.-Гнезниковский пер., д. 10, изд-во „Советский писатель“.

---

Ответственный редактор  
А. М и т р о ф а н о в  
А33328



Подписана к печати 29 апреля 1941 г.  
Печатных листов 7 $\frac{1}{8}$ .  
Авторских листов 7,97



Бумага 70 × 92 $\frac{1}{32}$ . Колич. печ. знаков в листе 48 160. Заказ № 47.  
Тираж 10 000 экз.



Цена 3 р. 25 к.

---

13-я тип. ОГИЗ РСФСР треста  
„Полиграфкнига“. Москва,  
Денисовский, 30.

п. 53 г.

56

3 p. 25 к.

17